

Эдуард
ТОПОЛЬ



Русская дива

Эдуард Тополь

Русская дива

«Эдуард Тополь»

1995

Тополь Э. В.

Русская дива / Э. В. Тополь — «Эдуард Тополь», 1995

ISBN 978-5-17-030771-5

Эмигрант-плейбой, который любит Россию, должен любить и русских красавиц. Ценой эмиграции может быть не только отказ от русских женщин, не только инспирированный жестоким совковым бытием «любовный треугольник». Это – попытка избежать в череде невероятных приключений «ужасов советского режима». Это – интриги и убийства, секс и любовь и, главное, иронический финал, который не оставит равнодушным никого из читателей!

ISBN 978-5-17-030771-5

© Тополь Э. В., 1995
© Эдуард Тополь, 1995

Содержание

От автора	5
Пролог	6
Часть I	10
1	10
2	20
3	26
4	31
5	40
6	47
7	52
8	59
9	68
10	71
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Эдуард Тополь

Русская дива

Посвящаю Юлии, любимой жене

Половая полярность есть основной закон жизни и, может быть, основа мира. Это лучше понимали древние, а мы отвратительно бессильны и вырождаемся все больше и больше.

Николай Бердяев. Метафизика пола и любви, 1907 г.

Заметьте, я вовсе не хочу сказать, что быть евреем – такая уж удача. В конце концов, у евреев тоже есть проблемы.

Ромэн Гари

От автора

Эта книга вышла из моего романа «Любожид», как Ева из ребра Адама. Но как наличие у Евы Адамовой плоти – почек, печени и некоторых других *внутренних* органов – не мешает Евам всего мира справедливо считать себя совершенно оригинальными созданиями, так и «Русская Дива», смею заверить читателя, уже после пятой-шестой главы отделилась от «Любожида» и ускакала в свой собственный сюжет столь стремительно, что в конце концов, в финале, даже я, автор, изумленно развел руками.

Впрочем, это предисловие пишется не в рекламных целях, а просто чтобы проинформировать читателя: да, из дюжины персонажей, населяющих роман-очерк «Любожид», я взял три, связал их интимной тайной и выпустил в отдельный роман. Что из этого получилось – судить читателю. Причем тем, кто не читал «Любожида», это предисловие вообще не нужно, разве что, прочитав «Диву», кто-то захочет узнать, откуда она взялась. А кто знаком с «Любожидом», тем, я надеюсь, все равно имеет смысл преодолеть несколько знакомых страниц, чтобы уплыть со знакомыми персонажами в незнакомый вояж.

При всей моей авторской скромности одно я знаю наверняка: как женщины являются несравнимо лучшим творением Господа, чем мужчины (не зря же они созданы после нас!), так и «Русская Дива» куда лучше той плоти, из которой она родилась. Аминь.

Пролог

Лето 1961, СССР

Пионерлагерь «Спутник»

– Знаете ли вы, что такое быть русской женщиной? Я имею в виду – что такое быть настоящей русской женщиной?

Он обвел взглядом лица окружавших его девчонок. Тридцать юных комсомолок – весь шестой отряд летнего пионерлагеря «Спутник» – примолкли и смотрели на него с выжидательным интересом. Блики вечернего костра освещали их алые пионерские галстуки, синие маечки, облегающие упругие грудки, и коротенькие шорты, специально застиранные ими добела, чтобы оттенить шоколадный загар их ног, окрепших за лето от волейбола, плавания и туристических походов. Дальше, за ними, в ночной темноте больше угадывались, чем видны, были широкая река, маяки бакенов и тихо проплывающие по речной стремнине плоты лесосплава.

– И кто она – настоящая русская женщина? – спросил он, не повышая голоса. – Анна Каренина, изменившая мужу? Или Наташа Ростова, рожаящая каждый год по ребенку? Или куртизанка Настасья Филипповна из «Идиота» Достоевского? Или жалкая проститутка Сонечка Мармеладова из романа «Преступление и наказание»? Не смейтесь, это интересный вопрос! Смотрите: французы внушили миру, что француженки самые изысканные модницы. Верно? Испанцы – что испанская женщина самая пылкая и чувственная, так? Про англичанок мы знаем, что они холодные и чопорные. Про евреек и японок – что они лучшие матери. А как насчет русских? Вы – будущие русские женщины. Да, да, нечего хихикать, вам быть русскими женщинами, а кому же еще? Но что вы знаете о себе?

Он надломил коленом сухую еловую ветку и пошевелил ею обуглившиеся дрова костра. Огонь жадно вспыхнул на еловых иглах, и он снова глянул на своих слушательниц. Он был ненамного старше их – лет на шесть-семь, и ежедневная война за их внимание утомила его. Вечно их мысли блуждают где-то в стороне от разговора, вечно в их глазах какая-то усмешка и вызов, словно эти пигалицы знают тайну, не ведомую ему, двадцатилетнему. Но теперь, кажется, он задел их за живое. Еще бы! В этом возрасте их, конечно, интересуется все, что хоть как-то связано со словом «женщина». Но он не будет спешить...

– «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», – процитировал он русского поэта. – Вот определение, которое дано русской женщине в литературе. Русские писатели, даже самые великие, даже Толстой, не добавили ничего к этим двум строчкам. Так неужели это и есть ваше главное качество – быть эдакими Геркулесами в юбках? Или пожарниками? А?

Он переждал их смех и продолжил:

– Нет, я думаю, должно быть что-то еще, из-за чего именно в русских женщин влюблялись когда-то монархи Европы и, пренебрегая своими принцессами, возводили русских девушек на английские, французские, британские и норвежские престолы. Но – что? Красота? Вот я смотрю на вас. Конечно, вы все прекрасны и все красавицы. Тихо, не смейтесь. Но намного ли вы красивее француженок или, скажем, итальянок? Ну, честно – красивее? Вот и я не знаю. И тогда я обращаюсь к истории. Я хочу в древних веках найти ответ: что же отличало русских женщин от всех других? И вдруг... вдруг я узнаю, что никаких русских уже давно не существует. Нету русских почти тысячу лет! Да, да, мы живем в России, и весь мир называет нас русскими, но... факты упрямая вещь – от русских у нас только название. Все историки – и российские и западные – потеряли следы русов еще в десятом веке. Русы, настоящие русы – огромное племя, целый этнос, который в первом тысячелетии прокатился по всей Европе, – исчезли! Пропали во тьме веков, оставив после себя скифским племенам только имя свое да позднее династию царей Рюриков. И все. Ни языка, ни культуры, ни письменности, ни легенд.

Только имена: Олег, Ольга, Игорь. Да названия рек: Днепр, Днестр. Впрочем, ведь и эти названия звучат больше по-немецки, чем по-русски, правда? Но как же так? Как мог без следа исчезнуть целый народ? И почему? И исчезли?

Он порывисто встал. Пламя костра отбросило от его худошавой фигуры большую изломанную тень на белеющие в ночи тенты туристических палаток. Лицо его, узкое и освещенное снизу багровыми бликами, вдруг обрело какое-то мефистофельское и в то же время вдохновенное выражение, темные глаза загорелись внутренним светом, а широкие крылья крупного носа хищно вздрогнули при неожиданно близком всплеске речной рыбы, словно это плеснулась в речной воде та самая тайна, разгадку которой он искал.

– Посмотрите вокруг! – вдруг приказал он, очертив в темноте широкий полукруг своей обгорелой еловой палкой, и от этого резкого жеста угольно-красный конец палки вспыхнул, как огненное копьё. – Двадцать веков назад здесь была такая же тьма, те же леса и те же комары. Вдоль берегов этих рек жили мелкие племена – какие-то угры, бургасы, гузы. Они занимались рыбалкой, охотой и собирали мед в лесах. Но в пятом – седьмом веках черт знает откуда – с севера, от Прибалтики – сюда хлынули орды воинственных ругов. Это были бандиты, завоеватели. Они не производили ничего, а занимались лишь грабежами и жили за счет мародерства. В девятом веке они покорили славянскую столицу Киев и с тех пор стали править и помыкать всеми, кто был вокруг – полянами, древлянами, северянами. Они грабили их, брали с них тяжелые дани и продавали в рабство в Византию, в Грецию, в Хазарию. Они были грубыми, жестокими, беспощадными в битвах и вероломными в быту, и все свое достояние, нажитое разбоем, они оставляли в наследство дочерям. А сыновьям они завещали только оружие, говоря: «Этим мечом я добыл свое состояние, возьми его и иди дальше меня!» Иными словами, это был этнос бандитов. Но!..

Он поднял горящую еловую палку, как саблю или как жезл. Он уже давно расхаживал вдоль темного берега, вдохновленный вниманием своих слушательниц и теми миражами прошлого, которые виделись ему во мраке этой летней ночи.

– Но они были красивы! – объявил он. – Этого отнять нельзя – руги, которых в этих местах стали называть «русам», были очень красивы. Как в 922 году написал своему владыке иранский посол Ахмед ибн Фадлан: «Я видел русов. Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Итиль. Я не видел людей с более совершенными телами, чем у них. Они подобны пальмам, белокуры, красивы лицом и белы телом. Они не носят ни курток, ни кафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из нее наружу. И каждый из них имеет топор, меч и нож, причем со всем этим он никогда не расстаётся. И у иных от ногтей до шеи все тело разрисовано изображением деревьев, птиц, богов и тому подобного. А что касается их женщин, то они все прекрасны, их тела белы, как слоновою костью, и на каждой их груди прикреплен коробочка в виде кружка из железа, или из серебра, или из меди, или из золота, или из дерева в соответствии с богатством их мужей. Они носят эти коробочки с детства, чтобы не позволять их груди чрезмерно увеличиваться. На шеях у них мониста из золота и серебра, и нож, спадающий меж грудей, а самым великолепным украшением у русов считаются зеленые бусы из керамики. За каждую такую бусину они готовы отдать шкуру соболя.

Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Итиле – а это большая река, – и строят на ее берегу большие дома из дерева. И собирается их в одном таком доме десять или двадцать, у каждого своя скамья, на которой он сидит, и с ним сидят девушки-красавицы для купцов... Если умрет глава семьи, то его родственники говорят его девушкам: «Кто из вас умрет вместе с ним?» Одна из них, которая любила его больше других, говорит: «Я». Тогда собирают то, чем он владел, и делят это на три части, причем одна треть – для его семьи, вторая – чтобы на нее сшить одежды, а третья – чтобы на нее приготовить набиз, который они все пьют десять дней, пока кроют и шьют одежду умершему. На эти десять дней

они кладут умершего в могилу, а сами пьют, сочетаются с женщинами и играют на сазе. А та девушка, которая сожжет себя со своим господином, в эти десять дней пьет и веселится, украшает себя разными нарядами и украшениями и так, нарядившись, отдается людям».

«Мне все время хотелось, – писал Ибн Фадлан, – познакомиться с этим обычаем, пока не дошла до меня весть о смерти одного выдающегося мужа из их числа. Когда же наступил день, в который должны были сжечь его и девушку, я прибыл к реке, на которой находился его корабль, – и вот этот корабль уже вытасчен на берег, на деревянное сооружение вроде больших помостов. В середину этого корабля они поставили шалаш из дерева и покрыли этот шалаш разного рода кумачами. Потом принесли скамью, покрыли ее стегаными матрасами и византийской парчой, и подушки – византийская парча. И пришла женщина-старуха, которую называют Ангел смерти, это она руководит обшиванием умерших, и она убивает девушек. И я увидел, что она старуха-богатырка, здоровенная, мрачная.

Когда же они прибыли к могиле, они удалили землю и извлекли умершего в покрывале, в котором он умер. Еще прежде они поместили с ним в могиле набиз, какой-то плод и лютню. Теперь они вынули все это. И я увидел, что умерший почернел от холода этой страны, но больше в нем ничего не изменилось, кроме его цвета. Тогда они надели на него шаровары, гетры, сапоги, куртку, парчовый кафтан с пуговицами из золота, надели ему на голову соболью шапку из парчи, и понесли его на корабль, на стеганый матрас, подперли его подушками и принесли набиз, плоды, цветы и ароматические растения, и положили это вместе с ним. И принесли хлеба, мяса и луку, и оставили это рядом с ним. Потом принесли его оружие и положили его рядом с ним. Потом взяли двух лошадей, рассекли их мечами и бросили их мясо в корабль.

Собралось много мужчин и женщин, играют на сазе, и каждый из родственников умершего ставит шалаш, а девушка, которая захотела быть сожженной со своим господином, украсившись, отправляется к шалашам родственников умершего, входит в каждый из шалашей, и с ней сочетается хозяин шалаша и говорит ей громким голосом: «Скажи своему господину: „Право же, я совершил это из любви и дружбы к тебе.“» И таким образом она проходит все шалаша...

Когда же пришло время спуска солнца, она поставила свои ноги на ладони мужей, поднялась и произнесла какие-то слова на своем языке, после чего ее спустили. Потом подняли ее во второй раз и в третий раз, и я спросил переводчика об этих действиях, и он сказал: «Она сказала в первый раз, когда ее подняли: „Вот я вижу своего отца и свою мать“, – и сказала во второй раз: „Вот все мои умершие родственники, сидящие“, – и сказала в третий раз: „Вот я вижу своего господина сидящим в саду, а сад красив, зелен, и вот он зовет меня, – так ведите же меня к нему!“»

И так они пришли с ней к кораблю. И она сняла два браслета, бывшие на ней, и отдала их той женщине-старухе, называемой Ангел смерти, которая ее убьет. После этого все мужчины делают свои руки устланной дорогой для девушки, чтобы девушка, став на ладони их рук, прошла на корабль. Но они еще не ввели ее в шалаш ее умершего господина. Пришли мужи, неся с собой щиты и палки, а ей подали кубок с набизом. Она же запела над ним и выпила его. И сказал мне переводчик, что она этим прощается со своими подругами. Потом ей был подан другой кубок, а старуха, имея огромный кинжал с широким лезвием, вошла вместе с ней в шалаш, а затем вошли в шалаш шесть мужей из родственников ее мужа и все до одного сочетались с девушкой в присутствии ее умершего господина до тех пор, пока стала она радостной и легкой, как ангел. Затем, как только покончили они с осуществлением своих прав любви, они уложили ее рядом с ее господином. Двое схватили обе ее ноги, двое – обе ее руки, а старуха, называемая Ангел смерти, наложила ей на шею веревку и воткнула ей меж ребер кинжал. А мужи начали бить палками по своим щитам, чтобы не слышен был звук ее предсмертного крика...

Когда же она умерла, то ближайший родственник умершего, будучи еще голым, взял палку и зажег ее у огня и пошел зажечь дерево, сложенное под кораблем.

И взялся огонь за дрова, потом за корабль, потом за шалаш, и мужа, и девушку, и за все, что в нем находится. Потом подул ветер, большой, ужасающий, и усилилось пламя огня, и разгорелось его пылание. Не прошло и часа, как корабль, и дрова, и девушка, и господин ее превратились в золу, потом в мельчайший пепел.

Тогда они соорудили на месте этого сгоревшего корабля нечто вроде круглого холма и водрузили в середине его большое дерево, написали на нем имя этого мужа и имя царя русов и удалились».

– Так писал Ибн Фадлан о русах, которых он видел своими глазами вот здесь, на берегу этой реки. Да, это было именно тут – здесь сидели русы со своими товарами и юными красотками, стройными как пальмы, и прекрасными лицом и телом. И здесь же шли в огонь русские девушки за своим возлюбленным или мужем. И было это всего тысячу сорок три года назад. Но потом за каких-нибудь семьдесят – восемьдесят лет все мужчины-русы погибли в неудачных походах на Византию, Персию и Болгарию. А что стало с их прекрасными женщинами – не написано нигде, но, скорее всего, они стали женами славян, полян и древлян, которые переняли их имя, потому что хотели быть такими же грозными и красивыми, как их бывшие владыки. Но стали ли? Спросите себя ночью наедине с собой: сможете ли вы пойти в огонь за своим возлюбленным? Выпить перед смертью чашу набиза, спеть прощальную песню своим друзьям и взойти на горящую ладью своего мужа? Спросите себя, и тогда вы узнаете, сохранились ли русские женщины в России. Спасибо за внимание. А теперь – все по палаткам, спать!

Он переждал их визг и крики: «Еще! Расскажите еще что-нибудь! Пожалуйста!» – потом разбросал пепельные угли догоревшего костра и сказал негромко:

– Все! На сегодня все. Отбой.

Они окружили его, прыгая и вереща:

– Нет! Вы знаете больше! Ну, пожалуйста! Расскажите!

Он поднял на них глаза, и они смолкли в ожидании продолжения рассказа. А он сказал:

– Может быть, я знаю еще сотню интересных историй. Но если вы хотите когда-нибудь услышать их, вы немедленно отправитесь спать. Я считаю до трех. Раз...

Они бросились прочь, к своим палаткам. Визг, хохот и мелькание загорелых лодыжек в ночи... Он устало усмехнулся, глядя им вслед. А потом повернулся к реке.

Вдали, в темноте, уплывал от него и истаивал в черном пологе ночи последний огонек костра плотогонов. Но сверху, с севера, ему вдруг слышались какие-то звуки – не то движение нового лесосплава по реке, не то негромкие всплески весел. Он шагнул к воде, всматриваясь в темноту безлунной ночи. Армада темных силуэтов обозначилась на речной стремнине, но издали и сквозь мрак безлунной ночи он не мог понять, что это – плоты? лодки? или ладьи древних русов, плывущих за новой добычей?..

Часть I

Двойная охота

1

В Москве Рубинчик романов не заводил. И не только потому, что дорожил своей репутацией известного журналиста и сотрудника «Рабочей газеты», где печатался под псевдонимом «Иосиф Рубин», но и потому, что в Москве у него не было на эти романы ни времени, ни желания. Худощавый тридцатисемилетний еврей с провинциальным детдомовским воспитанием и столичным честолюбием, он в Москве целиком посвящал себя будничной редакционной лихорадке, двум малым детям, жене и стервозному быту, съедающему весь досуг, скандальным очередям за продуктами, обувью, одеждой, лекарствами для детей и всем остальным, без чего невозможно будничное существование человека. Замотанный этой колготней, Рубинчик не имел в Москве и минуты на то, чтобы взглянуть вокруг себя и увидеть чье-то женское лицо, заманчивый вырез платья или хотя бы тихий танец снежинок под уличными фонарями.

Но стоило ему выехать в командировку, стоило сбросить с себя нервотрепку московских забот, как в нем просыпался какой-то мистический, хищный и веселый азарт охотника. Но не на всякую дичь, нет. В Рубинчике не было той всеядности, какая свойственна почти всем мужьям, вырвавшимся из постели пусть даже любимой, но уже такой привычно-знакомой жены. И вообще, дело было не в сексуальном голоде. Дело было в чем-то ином, чему сам Рубинчик не мог дать названия, да и не искал его. Но в тот момент, когда он садился в редакционную машину или в аэрофлотский автобус, чтобы ехать в аэропорт, а оттуда улететь на сибирские нефтяные разработки, уральские рудники или к алтайским лесорубам, мощный выброс адреналина в кровь каким-то странным образом перегруппировывал улежавшиеся на московских орбитах атомы и электроны его тела, вздрючивал их, расщеплял в них новые киловатты энергии, распрямлял Рубинчику плечи, менял посадку головы, прибавлял раскованности и остроумия и наполнял его взгляд самоуверенной дерзостью.

И с этой минуты начиналась охота.

Так тайный наркоман, почти не отдавая себе отчета в своих действиях, выходит на поиск наркотика. Так маньяк-убийца отправляется на ночную охоту за своей очередной жертвой. Так гениальный поэт бессознательно ищет одно-единственное слово, которое заставит его стих взлететь над морем презренной прозы.

Огромная страна – вся советская империя в расцвете ее могущества – лежала перед ним, вольно раскинувшись от Балтики до Тихого океана, и он с трудом сдерживал возбуждение, как инопланетянин при высадке на новую планету или как всадник из орды Чингисхана перед вторжением в Сибирь. В этой стране происходила масса событий – она открывала газ в Заполярье, ловила иностранных шпионов, готовилась к Олимпиаде, прокладывала каналы в прикаспийских пустынях, преследовала диссидентов, строила гидростанции, посылала ракеты в космос, слушала «Голос Америки» и «Свободу», и Рубинчик с профессиональной жадностью поглощал, впитывал и заносил в свои блокноты все, что слышал и видел вокруг. Это была его страна, и она принадлежала ему вся – от Молдавии и Эстонии до Туркмении и Чукотки, и всем своим маленьким еврейским сердцем он любил ее огромность, многоликость и мощь. Впрочем, он никогда не считал себя евреем в полном смысле этого слова – он был атеистом, не знал еврейского языка, укоротил свою фамилию до ее русского звучания, пил водку не хуже любого русского, и, самое главное, он любил *русских* женщин. О да! Каждый раз, когда где-нибудь в сибирской, вятской или мурманской глуши его ищущий взгляд наткнулся наконец на

ту, которая заставляла замереть его охотничье сердце, он обнаруживал, что и эта, новая, родится со всеми его предыдущими находками одним неизменным качеством: это всегда были *русские* женщины, с вытянутым станом, затаенно печальными серыми или зелеными глазами и тем удлинённым лицом, высокими надбровными дугами и тонкой прозрачной кожей, которых можно увидеть на картинах Рокотова, Левицкого и Боровиковского.

Конечно, Рубинчик почти никогда не находил копию княгини Струйской или Лопухиной, хотя и эти портреты не передают в точности образ, который по необъяснимой причине жил в его подсознании. Но если объединить лик иконной Богородицы Владимирской с глазами какой-нибудь древнерусской или норвежской воительницы-княжны или хотя бы с суровой жертвенностью в глазах женских портретов Петрова-Водкина, то, может быть, это будет близко к тому идеалу, *иметь* который было для Рубинчика навязчивым и почти маниакальным вождением.

Такие женские типы еще можно встретить в глубокой русской провинции – хотя все реже и реже. Косметика, мода в одежде и в прическах, кровосмешительство, прокатившееся по русской породе волнами татаро-монгольского ига, турецким пленом, польским и французским вторжениями, беспутством собственных бояр, немецкой оккупацией, чекистским раскулачиванием, подсоветской миграцией и массовым алкоголизмом, – все это замутило, испортило и растворило нордическую, но оригинально смягченную в половецких кровях красоту русских женщин, которая еще несколько веков назад настолько пленяла европейских монархов, что они вели русских невест к свадебным алтарям и сажали рядом с собой на престолы в Англии, Норвегии, Франции, Венгрии – да по всей Европе!

Теперь, в наше время, стандарт русской красоты сместился к копированию на русский манер западных кинокарасоток, и только очень редко, случайно, как выигрышное сочетание цифр в лотерейном билете, судьба вдруг сводит в одном материнском лоне старый и утраченный в веках истинно русский набор хромосом. И тогда где-нибудь в провинциальной глуши Сибири, Урала или Карелии тихо, в заурядной семье растет, сама того не зная, юная копия былинной Ярославны, сказочной Василисы Прекрасной или скифской княгини Ольги. По неосознанной для себя и странной для окружающих причине, она сторонится гулевых подруг, заводских танцуплек с обязательным лапаньем фиксатыми сверстниками за грудь и прочие интимные места, ранней дефлорацией в кустах районного парка культуры и модного пристрастия пятнадцатилетних к вину, сигаретам и похабелю в разговоре. К шестнадцати годам она уже безнадежно «отстала» от своих подруг, она отдаляется от них в уединенную и тревожную для родителей мечтательность, чтение книг, вязание и учебу в каком-нибудь техникуме, а в двадцать два года ее, как старую деву, почти насильно выдают замуж. И, так и не отличенный от других простолюдинок, этот тайный цветок русской расы быстро увядает женой какого-нибудь прапорщика в глухом военном городке, грубеет с мужем-алкашом среди детей, грязного белья и стервозности заводской хрущобы или хиреет сам по себе от неясной и нереализованной своей предназначенности – хиреет до беспросветной русской меланхолии, панели Курского вокзала и женской тюрьмы.

Но Рубинчику было достаточно одного взгляда, чтобы среди тысяч женских лиц, что встречались ему на его журналистских маршрутах, выделить и опознать ту, в которой первозданная, исконная русскость еще не была заштрихована провинциальным бытом, изгажена поселковым блядством или замордована мужем-алкоголиком. И когда это случалось, когда он – наконец! – наткнулся на то, что он называл про себя «иконная дива», все замирало в нем – пульс мысли, дыхание. Это длилось недолго – долю секунды, но он ощущал это глубоко и мощно, как инфаркт. А затем сердце спохватывалось и швыряло по ослабевшим венам такое количество жаркой крови, что желание *иметь* эту древнерусскую красоту пронизывало Рубинчику не только живот, пах и ноги, но даже волосы на груди. Все в нем веселело, вздымалось, вставало, как монгольский всадник в стремях и как шерсть на звере, узревшем добычу.

Поразительно, что эти его избранницы никогда не оказывали ему сопротивления и даже не требовали предварительного флирта, длительного оболыщения или хотя бы ужина в ресторане на манер московских женщин. Что-то иное, какой-то неизвестный и непереводаемый на слова способ общения возникал между Рубинчиком и такой «иконной дивой», возникал сразу, в тот первый момент, когда глаза их встречались. Такое же чувство мгновенного внеречевого общения Рубинчик испытал однажды в тайге при случайной встрече с важенькой – юной оленихой, повернувшей к нему голову на таежной тропе. Они замерли оба – и Рубинчик, и важенька. Пять метров отделяли их друг от друга, ровно пять метров, не больше, и они смотрели друг другу в глаза – в упор и со спокойным вниманием. Рубинчик ясно, насквозь, до затылка, почувствовал, как важенька, вглядываясь в него, *постигает* его своими огромными темными глазами, влажными, как свежий каштан. Он собрал всю свою волю, чтобы тоже проникнуть в глаза и душу этого грациозного и нежного зверя, застывшего на высоких и тонких ногах. И ему показалось, что – да, есть контакт! Там, за влажной роговицей этих сливоподобных глаз он вдруг ощутил нечто широкое, темное, теплое и густое, как кровь, которое только ждет его знака, чтобы впустить его еще глубже или просто пойти за ним по таежной тропе. Казалось, сделай он правильный жест или знак – и важенька шагнет к нему, мягко и доверчиво ткнется губами в шею и станет покорной рабыней, невестой, лесной любовницей.

Но там, в тайге, он не знал секретного знака, которого так терпеливо и долго – может быть, целых пять минут – ждала от него таежная красотка. И от досады он вздохнул, сделал какое-то мелкое движение не то рукой, не то кадыком, и в тот же миг важенька нырнула в еловую чащу, рапидно перебирая в полуполете своими тонкими ногами лесной балерины и презрительно задрав над подпрыгивающей белой попкой коротенький упругий хвостик. Оставшись на тропе в одиночестве, Рубинчик почувствовал себя неотесанным мужланом на балу жизни, отвергнутым таежной аристократкой за незнание лесной мазурки.

Однако здесь, среди людей, Рубинчику не нужны были ни секретные коды, ни магические жесты, ни слова. Как одним-единственным взглядом он узревал русскую диву в жутком коконе ее телогрейки и нелепого провинциального платья, в толстых трикотажных колготках и резиновых ботах, так и эта дива сама, с первого взгляда, опознавала его каким-то иным, до сей минуты даже ей самой неизвестным чутьем и какой-то другой, генной памятью. И широкая, просторная глубина, густая и теплая, как кровь, открывалась перед Рубинчиком в ее глазах.

Конечно, он знакомился с девушкой, говорил какие-то дежурные слова, но ясно видел, что она только слушает его голос и вместе с этим голосом вбирает в себя его самого, пьет его, как наркотик...

Рубинчик никогда не мог объяснить себе этого эффекта. То есть почему его влекло к русским женщинам – этому можно найти тысячу резонансов: от воспитания на русской культуре до комплекса маленького и ущемленного в правах еврея в море славянского и государственного антисемитизма. Но что они – древнерусские княжны, половецкие принцессы, донские ярославны и онежские василисы – видели в нем, невысоком, худощавом еврее с жесткой черной шевелюрой, крупным еврейским носом, маленькими карими глазами и густой шерстью, выбивающейся из открытого ворота рубашки? Почему после нескольких незначительных слов знакомства они покорно, как замороженные важеньки, сами приходили к нему в гостиничный номер – открыто! на глазах у всего своего города или поселка! – и даже не видя, *какими* глазами смотрят на них гостиничные администраторши.

Этого Рубинчик никогда не понимал, и каждый раз, когда это случалось, был уверен, что на этот раз он наверняка ошибся и закадрил простую провинциальную *давалку*.

Но когда очередная «княжна» уходила по его приказу в душ и возвращалась оттуда босиком, с гусиной кожей на голых ногах и завернутая от груди до лобка в потертое гостиничное полотенце (с обязательным фиолетовым штампом «Госкоммунхоз», чтобы это полотенце не уперли постояльцы гостиницы), Рубинчик сразу видел, что здесь не пахнет не только бляд-

ством, но и вообще каким-нибудь сексуальным опытом. В ее походке, фигуре, вытянутой шее и в глазах было нечто замороженно-испуганное и мистически покорное его воле, слову, жесту и мысли. А самое главное – его вожделению. И медленно отнимая это гостиничное полотенце, прикрывающее ее худое белое тело, грудь и крохотные бледные соски, Рубинчик уже видел, что – да, он не ошибся и на этот раз, она – девственница.

Он совращал их, конечно. Но только если понимать под совращением дефлорацию и ничего, кроме этого чисто медицинского акта. Потому что во всех остальных значениях этого слова – лишить женской чести, сбить с правильного пути – то какое тут к черту совращение! Он не *трахал* их и не *ломал целку*, а проводил их по узкому мостику от девичества в женственность – проводил с почти отцовской осторожностью, терпеливостью и нежностью, а затем приобщал их к истинной и высокой женской чести быть в постели не расщепленным надвое поленом, а Жрицей.

Так в ночном тумане опытный бакенщик сначала одной интуицией находит темный буюк маяка, потом на ощупь разбирает фонарь, доликает масла, заправляет фитиль, зажигает наконец огонь – и вдруг свет этого маяка слепит глаза ему самому.

Свет истинной женственности, который Рубинчик зажигал в такую ночь где-нибудь в Ижевске, Вологде, Игарке или Кокчетаве, был подобен возвращению к жизни старинной иконы, когда после осторожной и трепетной расчистки на вас вдруг вспыхнут из глубины веков живые и магические глаза.

Этот миг Рубинчик готовил особенно тщательно и даже церемониально. В стране, где, несмотря на массовое блядство, сексуальное образование было предоставлено лишь темным подъездам, похабным анекдотам и настенным рисункам в общественных туалетах, где не было ни одной книги на тему «КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ» и где даже слово «гинеколог» стесняются произнести вслух, – в этой стране миллионы юных женщин знают о сексе не больше, чем домашние животные. Лечь на спину, раздвинуть ноги и *поддать* – вот все, чему учат своих невест и что требуют от своих жен девяносто процентов русских мужчин. Нужно ли удивляться массовой фригидности русских женщин?

В черном море сексуального невежества Рубинчик зажигал светлые лампы чувственности и первым наслаждался их трепетным пламенем.

– Сейчас, дорогая! Не спеши и не бойся! Забудь все, что тебе говорили об этом подружки, и забудь все грязные слова, которые пишут про это в подъездах. Мы сделаем это совершенно иначе. Так, чтобы ты помнила об этом всю жизнь, как о самом святом дне своей жизни, как о рождественском празднике. Выпей вина. Вот так. И еще глоток. И еще. А теперь дай мне твои губы. Нет, не так. Забудь обо мне и слушай только себя...

Черт возьми, они даже целоваться не умели как следует! Их соски не умели откликаться на прикосновения мужских губ, их руки боялись опуститься к мужскому паху, их ноги сводило судорогой предубеждения, и даже когда они делали над собой волевое усилие и разжимали ноги в ту позу готовности, которую многократно видели на похабных рисунках в школьных туалетах, – даже тогда их тело еще не было ни ложем страсти, ни хотя бы желания, а только – ложем страха.

Но Рубинчик был поэтом соития, терпеливым и виртуозным.

– Подожди! При чем тут ноги? Ты видишь эту ночь за окном? Это не звезды, нет. Это решето вечности. Семнадцать лет твоей жизни утекли через это решето навсегда. Их нет. Они истаяли в космосе. Что осталось от них в тебе? Ничего. Потому что ты не жила еще. Ты дышала – да. Ты ела, пила, что-то учила. Су-ще-ство-ва-ла. И только. А сейчас ты начинаешь жить. После этой ночи ни одна твоя ночь уже не утечет от тебя в никуда. Они будут все твои. Ты слышишь – твое тело наполняется солнечной силой. От каждого прикосновения к тебе этим ключом жизни все в тебе оживает – и спина... и живот... Посмотри на него. Не стесняйся. Возьми его в руки. Только не сжимай так сильно. Нежней. Ты знаешь, почему купола всех

церквей и мечетей именно такой формы? Потому что это вершина божественной гармонии! А теперь приложи его к своей груди – сама. Да, милая, так. Ты чувствуешь? Твой сосок растет ему навстречу...

Он не шел ниже. Даже когда ее спина уже аркой изгибалась навстречу ему, и ее живот начинал пульсировать от первых приливов желания, и тяжелело дыхание, и губы открывались, – он не спешил. Наоборот, он отнимал свой ключ жизни от ее тела и нес его к ее губам. Это был один из самых критических моментов операции. Возвращенные в советском невежественно-брезгливом пуританстве, все сто процентов юных русских женщин считают мужской половой орган таким же грязным, как их общественные туалеты. Прикоснуться к нему, а уж тем более взять его губами кажется им немыслимым унижением. Ведь хуже нет в России оскорбления, чем сказать о женщине: «Я имел ее в рот!» И такое же презрительное отвращение испытывает русский мужчина к женскому влагалищу. «Даже если когда-нибудь, – думал Рубинчик, – в двадцать третьем веке, в России будут делать эротические фильмы, невозможно представить, чтобы и в таком фильме русский мужчина поцеловал женщину меж ее ног...»

Но Рубинчик легко ломал этот дикий российский предрассудок. Он возносил свой гордый ключ жизни, напряженный и увитый набухшими венами, по груди своей наложницы к ее к подбородку и губам – возносил медленно и торжественно, как приз, как божественный жезл...

Чаще всего она в ужасе закрывала глаза.

Он не настаивал, нет. Он брал ее лицо двумя руками и говорил тихо и нежно:

– Посмотри на меня!

Она открывала глаза. И всегда в них было одно и то же – покорность и готовность впустить его в теплую глубину своей души и тела и тайный ужас перед тем, как это произойдет. Нет, и еще что-то – нечто более древнее, какой-то иной, мистический ужас подневольной и замороженной жертвы...

Но Рубинчику было недосуг, да он и не пытался разгадать тайну этого страха. Зато он давал этой диве возможность заглянуть в его душу.

– Это не стыдно, милая! Посмотри мне в глаза! Нет ничего стыдного в нашем теле. Ни в твоём, ни в моём. Все сделано Богом из одной крови и одной плоти. И все одинаково прекрасно на вкус. Смотри...

И он начинал целовать ее тело сверху вниз, медленно опускаясь губами и языком по ее груди и животу, все ниже и ниже, к тонким завиткам ее пуха на лобке. А затем он мягким, но властным движением ладоней разводил ее колени. Тут, в этой ложине, находилась главная западня его жизни, тут, под пухом этих шелковых зарослей, укрывался тот магический магнит, чью неземную силу Рубинчик испытал лишь раз, давным-давно, на берегу древнего Итиля, но который с тех пор властно вырывает его из Москвы и тащит по российской грязи и снегам, через тайгу и тундру на поиски очередной русской дивы.

Осторожно, как минер или тигролов, Рубинчик приближал свое лицо к этой маленькой нежной роще и подбородком раздвигал ее спутанные лианы.

Сухие, закрытые и еще спящие губы невинного девичьего бутона представляли перед его пытливым взглядом, и не было, казалось, никакой мистики в этих бледно-розовых створках, как на вид нет никакой мистики в простой раковине-жемчужнице.

Но Рубинчика не могли обмануть эти уловки природы. Не дыша, страхась и одновременно жаждая этого опасного чуда, он сначала губами, а потом языком касался этих бледно-розовых створок.

Одно это прикосновение вызывало девичий шок. Не сексуальный, нет – культурный. Пытаясь избавиться Рубинчика от ненужного, как они считали, унижения, они всегда в этот миг хватили руками его голову и пытались отстранить, вынуть ее из собственных чресел. Но Рубинчик перехватывал их руки своими руками и сжимал изо всех сил, запрещая им любое движение.

Конечно, он знал, что они *дадут* ему и без этого.

Он мог в любую минуту разломить локтями их ноги и войти в их тело, одним ударом прорвав сухоту их девственных губ, судорожно сжатые мускулы устья и тонкую пленку там, внутри. Собственно говоря, в силу своего невежества они ничего иного от него и не ждали, хотя именно это они могли получить в любой подворотне без всякого Рубинчика.

Но ведь не в этом была его миссия и магия этой ночи!

Учитель, Просветитель, Наставник и Первый Мужчина – даже эти простые титулы наполнили его сексуальное вожделение еще одним качеством, еще одной гранью изыска. А помимо этого... да, помимо этого, он ждал от этой ночи еще чего-то – невероятного, сверхобычного, почти сатанинского, что довелось ему испытать только там, на берегу Итиля...

Сжав руками запястья тонких девичьих рук, он продолжал нежно, в одно касание, целовать еще сухие и спящие губы девичьего бутона. Этот бутон всегда напоминал ему заспавшего ребенка, наверху теплого байкового одеяла, которое Рубинчику предстояло развернуть языком и губами. И он приступал к этому процессу с тем ликованием, с каким его трехлетний сын разворачивал обертку шоколадной конфеты. Заострив язык, он медленно, как в рапиде, раздвигал эти оживающие лепестки. Он знал, что в ее подсознании этот маленький бутон начинал увеличиваться, гипертрофироваться, вырастать до гигантских размеров. По силе вожделения это было несопоставимо с любым ее прежним девичьим томлением или безотчетными позывами ее юного тела к мастурбации. Сейчас в ее разгоряченном мозгу ее маленькая лагуна превращалась в отдельное тело, в жадного зверя и в один гигантский рот, алчущий новых прикосновений, поцелуев, ласк, слюны. Так пустыня, высыхающая от многолетней засухи, корчится от жажды и нетерпеливо открывает свои пересохшие поры первым же тучам, наплывающим к ней с горизонта.

Но чудо, которого ждал Рубинчик и которое он хотел взрастить, как опытный садовник взращивает редкий экзотический цветок, – это чудо нельзя было ни торопить, ни перегреть своей лаской. Нет, теперь нужно было дать этому чуду возможность прорасти самому, как зерну, проснувшемуся от весеннего дождя. И в тот момент, когда язык и губы Рубинчика начинали ощущать увлажнение ее нижних губ и нащупывали сверху их складок крохотный узелок-жемчужину, Рубинчик останавливал себя. Своим примером он сломал первый барьер – отношение к половому органу как к чему-то грязному и стыдному, что немислимо тронуть губами, и теперь он снова возносил свой ключ жизни к лицу юной дивы. И еще не было случая, чтобы на этот раз она отвергла его, сомкнула губы или отвернулась. Наоборот, порывисто схватив его руками и губами, как пионерский горн, она показывала Рубинчику, что урок усвоен, что можно идти дальше, дальше...

Однако он и тут не давал воли девичьей самодеятельности. Он отнимал свой волшебный ключ жизни от ее губ и приказывал жестким тоном владыки и господина:

– Без зубов! Нежней и глубже!

Да, теперь он не выбирал выражений и не обращал внимания на испуганные глаза, горящие в темноте, как у маленького зверька. Она должна усвоить терминологию вместе с процессом.

– Только медленно, не спеша! И играть языком! Играть, как на флейте! Вот так, да!

Он знал, что в ее подсознании нижние и верхние ее губы уже соединились в единого монстра, способного поглотить все его тело и душу, но еще дальше, на периферии ее сознания все равно бьется, замирая от ужаса и ликования, последняя нетерпеливая мысль: «Ну когда же? Когда? Я сделаю все, что прикажешь, только и ты быстрее сделай то, главное!» И даже не мыслью это было в них, а сутью и главной задачей их пребывания на земле: стать женщиной. Это записано в их генетическом коде, в подкорке их мозга и в каждой клетке их тела. *Дары Господни неотторжимы!*

Однако Рубинчик оттягивал этот главный момент. Эта оттяжка стоила ему здоровья, поскольку он должен был усилием воли укротить бушующее в его гениталиях давление. Но он шел на эту пытку сознательно, как на жертву ради возвышенной цели. Он приказывал себе отключиться, терпеть, ждать! Ее сознание уже смято жаждой соития, и она уже отдалась этому потоку, открылась ему и поплыла в нем, и вожделение крутит ее, и она получает кайф от всего – от вкуса его плоти, оттого, что – наконец, после стольких лет ожидания! – держит в руках этот живой и горячий ключ жизни, и даже от того, что дышит его запахом! Теперь и не видя ее в темноте, Рубинчик ощущал, что ее язык и губы выполняют его приказ не из страха, не вынужденно, а – с ликованием! Так юный музыкант, который подневольно, по принуждению родителей выучил первую мелодию, вдруг начинает испытывать удовольствие от своей игры – ликуя и гордясь, он играет ее снова и снова, все громче, быстрее, артистичнее, выделяя нюансы, переходы, окраску тембром и уже не желая выпускать изо рта эту волшебную флейту.

Именно эта восторженная беглость языка и губ новой ученицы, ее жадное, захлебывающееся упоение от поглощения его плоти говорили Рубинчику, что – все, это состоялось, чувственность проснулась в этом сосуде, Женщина родилась в нескладном ребенке, самка ожила в девственном теле, огонь возгорелся в лампаде.

А теперь – к делу!

Он погружал свою руку в меховую опушку ее лобка и начинал готовить плацдарм. Медленно, еще медленней, только двумя пальцами... А когда ее ноги уже сами, в диком позыве упирались ступнями в матрас и аркой вздымали ее тело навстречу его пальцам, а ее рот, и губы, и язык уже не просто лизали и сосали, а сжирали его, захлебываясь собственной слюной, – в этот момент Рубинчик, уже и сам захваченный потоком вожделения, заставлял себя дотянуться до ночника и включить свет.

Нет, она не реагировала на это, она даже не видела этого света. Потому что жила уже не в мире наружного сознания, а, как морская медуза, только внутри себя – своей чувственностью и своей жаждой соития.

Однако Рубинчик не знал пощады. Он возвращал свою ученицу в реальный мир, отнимая от ее губ свой горделивый ключ жизни, и подносил к ним новый бокал вина. Она открывала глаза, и дикие, шальные, ничего не видящие зрачки выкатывались к нему из-под надбровных дуг, выкатывались словно из другого мира и смотрели на него с вопросом, мольбой и нетерпением.

– Сейчас ты станешь женщиной. Сейчас, – успокаивал он. – Просто я хочу, чтоб ты видела это своими глазами. Выпей вина...

Ее тело еще пульсировало внизу, но она послушно делала один или два судорожных глотка, а потом откидывалась головой на подушку, готовая на все и даже, наверно, досадуя на него за то, что он *уже* не сделал это – пока она была там, по другую черту, за пределами сознания.

Рубинчик, однако, не сожалел о такой упущенной возможности. Женщина в постели, как хорошая проза, требует неспешности. А мужчина именно в сексе приближается к истинному творчеству – сотворению Жизни. Бог, творя земную жизнь, наверняка испытывал оргазм, ведь никак иначе не объяснить происхождение этого самого высшего в мире наслаждения.

Рубинчик извлекал подушку из-под головы своей ученицы, подкладывал под ее ягодицы и начинал языком вылизывать ее ушные раковины. Это тут же возвращало ее и его самого в прежнюю пучину вожделения, в самый круговорот чувственности.

И тогда он возносил над ее открытыми и горячими чреслами свое темное от застоявшейся крови и напряженное до дрожи копье и медленно, снова медленно, крошечными ступенями начинал погружать его жаркий наконечник в тесную, влажную, розовую расщелину, с каждым шагом все раздвигая и раздвигая нежно-мускулистое устье – до тех пор, пока не упирался в неясную, слепую преграду.

Это был святой и милый его душе момент.

Теперь он извлекал свое копьё на всю его длину, отжимался на руках и смотрел на распростертое под ним тело.

Так всадник поднимается в стременах, чтобы вложить в удар копья весь свой вес и всю силу размаха.

Бесконечная белая река женской плоти струилась под ним на скрипучей гостиничной кровати. Двумя скифскими курганами вздымалась на этой реке грудь с темными маяками островерхих сосков. Две распахнутые руки отлетали бессильными потоками. Длинная половецкая шея тянулась к подбородку запрокинутой головы. А за ней, дальше, падал с кровати безвольный водопад густых русых тонких волос.

Рубинчик смотрел на это тело с нежностью, с умилением, с любовью. Здесь была его Родина, его Россия. Тридцать лет назад она била его, мальчишку, до крови, обзывала «жидом», валила на землю, заламывала руки, мазала губы салом и заставляла жрать это сало вместе с землей и пылью. Двадцать лет назад она срезала его на вступительных экзаменах в Московском, Ленинградском и других университетах только за то, что в пятой графе его паспорта значится короткое слово «еврей», и мотала его по солдатским казармам и рабочим общагам. Но он прорвался! И теперь она, эта же Россия, принадлежала ему вся – всей своей плотью, реками, лесами и птицами, поющими в ее туманных садах. И – своей упругой шеей, потемневшими сосками белой груди, трепетной впадиной живота, доверчиво распахнутыми объятиями чресел.

Он любил ее в эту минуту. Он любил эту русскую землю так полно и нежно, как ни один русский, как может любить землю только человек, чудом выплывший к берегу из морских штормов, или как любит свой дом ребенок, переживший побои в доме злобной мачехи...

Он делал глубокий вдох и без излишней резкости, но мощно и решительно входил в ее родное и прекрасное тело.

Тепло ее крови, тихий стон, слезы боли и кайфа, первая несказанная истома от поглощения его ключа жизни и сжатия его девственными мускулами, и почти тут же, через минуту, – бешеные конвульсии ее тела наполняли его радостью. Наконец ее тело дождалось главного, ради чего оно росло и зрело все годы своей юной жизни! Оно дождалось соития с полярной плотью и там, внутри, в глубине своей, салютовало этому соитию гейзерами нежности и влаги, собранной за всю предыдущую жизнь.

Ощущение этих горячих и бурных фонтанов заземляло душу Рубинчика божественным, неземным наслаждением. Тонкие руки обнимали его шею и сжимали судорожно и благодарно, не давая шевельнуться; ее губы впивались в его губы до боли; ее ноги замком обхватывали его ноги; а ее трепещущий лобок следовал за ним, не позволяя ему вынуть себя из ее глубин даже на микрон.

Так капкан зажимает живую добычу, так ножны обхватывают смертельно-живительный клинок.

В этот миг Рубинчик всегда завидовал им. Какие космические ливни сотрясают их плоть! Какие молнии пронизывают! В какие пропасти падают они в момент оргазма! Он видел и понимал, что ни один мужчина, даже самый сладострастный, не может испытать и десятой доли тех божественных мук наслаждения, которые приходят в такие минуты к женщинам. Но он испытывал гордость и радость быть курьером, поставщиком этого Божьего дара, который он держал сейчас в женском теле на копьё своей плоти. Бог послал им дикие муки родовых схваток, неведомые мужчинам, и Бог – через него, Рубинчика! – воздавал им за эти муки такой силой наслаждения, которую не дано испытать мужским особям. Рубинчик испытывал наслаждение дарить наслаждение, он чувствовал себя в это время и.о. – исполняющим обязанности – Всевластного Бога и старался продлить свое пребывание в этой роли так долго, как только мог. Осиротев в бомбежках 41-го года, когда ему было всего три или четыре месяца, он видел

смерть в течение всей войны – в поездах, в голодающих сиротских домах, на горящих волжских баржах с детьми и орущими воспитательницами. И это сделало для него смерть не отдаленным и абстрактным будущим, а такой же реальной, ежеминутной возможностью, как постельное наслаждение. Они – смерть и наслаждение – приближались друг к другу в его сознании, почти смыкались – не зря в момент оргазма все живое, от человека до лесного зверя, испытывает странную, захватывающую, кружащую голову близость смерти. «Эту радость-Смерть, – думал Рубинчик, – может дать только Бог, но мужчина может подвести женщину почти вплотную к этой роковой и восхитительной пропасти экстаза». И он вкладывал все свои силы и талант в это искусство. Ради продления своей роли посланника Бога, ради удержания накала вожделения он умудрялся даже в самые святые и сладостные минуты *первовхождения* не терять голову и не иссякнуть, а извлечь свое орудие из замка женской плоти – извлечь на микроны.

Извлечь и вернуть...

Выйти и войти...

Сначала – на чуть-чуть...

А потом – чуть больше...

А потом – еще шире, мощней...

Иноходью...

Рысью...

И наконец вскачь! До хрипа! До крика!

Как копыта, стучали пружины кровати!

Белое тело половецкой невольницы выло по-волчьи – но уже не от боли, нет!

Она уже не ощущала боли, потому что пламя ее вожделения работало как наркоз, как веселящий газ.

В живом синхрофазотроне ее пульсирующего тела их русско-еврейская эротическая полярность разряжалась бурными потоками сексуальной энергии и поила их обоих новым томлением и такой дикой жадью нового соития, какая неизвестна мужчинам и женщинам одной национальности.

Рубинчик скручивал тело своей русской пленницы в кольцо и спираль, он разламывал ей ноги до шпагата – она доверяла ему во всем, слушалась каждого приказа и была уже той ученицей, которая сама тянет руку, чтобы ее вызвали к доске. Зверая от экстаза, она перехватывала инициативу, ускоряла ритм до галопа, билась головой из стороны в сторону, хлестала воздух гривой волос, хватала руками спинку кровати, скрипела зубами, истекала слезами восторга, извергалась жаркими и клейкими фейерверками, опадала, как мертвая, и снова взлетала аркой, и ее рот находил и обсасывал его пальцы, прихватывая их острыми звериными укусами, а ее ноги взлетали на его ягодицы, спину, плечи. Что-то, какое-то подсознательное чутье, какой-то интуитивный биологический манометр, говорило ей, что только с ним – евреем! жидом! – возможна такая полная, такая почти враждебная половая полярность, при которой столкновения разнополярных потоков их сексуальной энергии достигают мощности ядерных взрывов. И она отдавалась этим разрядам всей своей плотью и кровью, и ее тело своей собственной плотской памятью запоминало каждый миг этого наслаждения.

После каждого ее оргазма, когда она, обмирая, падала и затихала на его груди, Рубинчик чувствовал себя Паганини или Рихтером, только что блистательно сыгравшим сложнейшую симфонию. В ночной сибирской тишине ему даже слышались беззвучные аплодисменты православных и еврейских ангелов и крики «бис!». И он не вредничал и не заставлял себя долго просить, а, тихо шевельнув своими чреслами и сам изумляясь, откуда у него взялись новые силы, неведомые при его общении с еврейской женой, играл на «бис» – сначала в миноре, но уже через минуту переходя к мощным мажорным аккордам и к настоящему крещендо.

Позже, перед тем как отпустить *себя*, Рубинчик, из последних сил контролируя ситуацию, снова отжимался на своих волосатых руках и с нежной улыбкой смотрел на новорожденную

русскую Женщину. Он гордился собой. Пожар чувственности уже пылал в этом камине на полную мощь и сам, без его помощи, уже выбрасывал жаркие протуберанцы страсти. Не в силах дотянуться до губ Рубинчика, она лизала языком волосы на его груди, прикусывала зубами его плечи и вонзала свои ногти в его спину и голову.

Он смотрел на нее и знал, что теперь она сделает все, что он повелит, и будет выполнять его приказы не из мистической завороченности, как вначале, а с ликованием новообращенной служительницы Бога. Да, лежа под ним на спине, на боку, на животе, на локтях и коленях или взлетая над ним скифской амазонкой, она, эта русская дива, будет всегда видеть в нем Бога. В нем, в Рубинчике. И к утру, когда она истечет, как ей будет казаться, уже абсолютно всеми соками своего тела и когда ее тело станет прозрачным, невесомым и падающим в свободном, как в космосе, падении, – в это время, при рассветной прохладе, вползающей в про-светлевшее окно, она даже в самых потаенных уголках своего сознания будет молиться на него и нежить в себе его образ, как в двенадцатом веке женщины поклонялись чувственно-эротическому культу Христа.

В свете сиреневого русского рассвета он поднимал ее удивительно легкую голову на свои колени и гладил, гладил, гладил ее тонкие русые волосы. А она, бессильная, безмолвная и легкая, как ангел, тихо, не открывая своих половецких глаз, начинала вылизывать его опавшую плоть, отлетая в сон, в забытье, в детство, в младенчество, где она такими же сытыми губами подбирала, перед тем как уснуть, последние капли молока из соска своей матери.

Но даже глядя и любовно нянча эту новую русскую диву, Рубинчик уже знал, что того мистического, колдовского, сатанинского чуда, в поисках которого мотался он в командировках по этой гигантской стране, – этого чуда не случилось и здесь. Вернувшись из командировки в Москву, в редакцию «Рабочей газеты», он подходил в своем кабинете, который делил еще с тремя собкорами, к огромной настенной карте Советского Союза, находил на этой карте место, где он только что зажег очередной маяк женственности, и вставлял в эту точку новую красную кнопку-флажок. За десять лет его работы разъездным корреспондентом «Рабочей газеты» таких флажков на этой карте было уже больше сотни, но странного чуда, которое он испытал лишь однажды, в юности, в пионерском лагере «Спутник», – этого чуда не было нигде. И значит, через две-три недели он опять рванет в дорогу. Вот только – куда?

Он не знал, однако, что с недавних пор совсем в другом кабинете – с окном на площадь Дзержинского – кто-то на такой же карте тоже отмечает маршруты его поездок и зажженные им в России «маяки».

Этим человеком был Олег Дмитриевич Барский, полковник КГБ.

2

– Ваша фамилия?

– Моя фамилия? – Анна усмехнулась. Этот идиот, сидящий под портретом Брежнева, знает ее уже четыре года, а все не может запомнить фамилию. – Моя фамилия Сигал. А ваша?

Кузьяев, начальник отдела кадров Московской коллегии адвокатов, лысый хорек с крупными ушами и красными глазами тайного алкоголика, изумленно поднял глаза от ее личного дела:

– Разве вы не знаете мою фамилию?

– Конечно, знаю. И вы мою знаете. Вы же мне сами звонили.

Анна оглянулась на мужчину, который сидел в глубине кабинета и слушал их с легкой улыбкой на лице. Ему было около сорока, стройная фигура бывшего гимнаста или офицера, удлиненное медальное лицо, короткая стрижка, импортный темно-синий костюм с бортовой строчкой и идеально завязанный импортный же галстук. Держится с видом постороннего, но Анна с первой минуты почувствовала, что хорек вызвал ее к себе именно ради этого мужика. Кто же он?

Кузьяев кашлянул в свой кулачок с желтыми прокуренными пальцами.

– Давайте сначала уточним ваши анкетные данные. Сигал Анна Евгеньевна, девичья фамилия Крылова. Возраст – 32 года. Русская, беспартийная. Закончила юрфак МГУ, диплом с отличием. Замужем вторым браком...

Он говорил громче, чем нужно было для того, чтобы его слышала Анна, – то есть явно для слуха этого мужчины, Анна терялась в догадках. Зачем Кузьяев читает ему ее анкетные данные?

– Должность – адвокат, член Московской коллегии адвокатов. За время работы участвовала в шестидесяти девяти судебных процессах, из которых выиграла тридцать два...

«Неужели?» – внутренне изумилась Анна. Она уже забыла, когда перестала вести учет своим профессиональным победам и поражениям, но, оказывается, этот хорек вел! Что ж, тридцать два выигранных процесса в этой незаконной стране – совсем неплохой счет, Анна Евгеньевна!

– Муж, Сигал Аркадий Григорьевич, доктор наук, директор Института новых технологий Министерства тяжелой индустрии, член КПСС...

И тут Анну осенило: ее продают! Этот тип из Инюрколлегии хочет забрать ее к себе, и Кузьяев, что называется, «показывает товар лицом». А она, дура, стала дерзить ему с первой минуты. Хотя – стоп, она же не знает ни одного иностранного языка, а Инюрколлегия ведет дела только с западными странами – наследственные, арбитражные. Но тогда кто же этот тип? Его глаза так и сверлят ей затылок...

– Морально устойчива, дисциплинирована, политически грамотна...

Тут незнакомец нетерпеливо скрипнул креслом, и Кузьяев, чуткий, как все бюрократы, к телодвижениям начальства, прервал себя на полуслове, поднял голову и посмотрел на него вопросительно.

– Я думаю, это излишне, Иван Петрович, – сказал тот, вставая. – Вы забыли нас познакомиться. Анна Евгеньевна, меня зовут Олег Дмитриевич Барский, я из органов безопасности. Скажите, пожалуйста, вы еще поддерживаете отношения с Максимом Раппопортом?

У Анны сжалось сердце и рухнуло вниз. Но она тут же взяла себя в руки. О каких отношениях с Максимом они знают? Впрочем, это КГБ, с ними нелепо юлить. Но и показывать, что ты их боишься, тоже нельзя. И с тем спокойствием, с тем надменным спокойствием, которое она воспитала в себе для судебных поединков с прокурором, Анна вскинула на Барского свои большие зеленые глаза одной из самых красивых женщин Москвы.

– Разве мои отношения с мужчинами угрожают безопасности нашей страны?

Барский расхохотался. Это было так неожиданно – его открытый, громкий смех, и где – в кабинете самого хорька! Сам Кузьев озадаченно захлопал ресницами в ответ на этот смех, а потом, на всякий случай, тоже улыбнулся натянутой улыбочкой, открывшей его желтые и мелкие, как кедровые орешки, зубки хорька.

Отсмеявшись и даже якобы утерев слезы в углах глаз, Барский подошел к столу, сел в соседнее с Анной кресло.

– Все ясно, Анна Евгеньевна! – сказал он. – Теперь я понимаю, как вы выиграли тридцать два процесса.

Но Анна продолжала держаться отстраненно, контролируя каждый мускул своего лица и следя за каждым движением Барского. В чем дело? Что ему от нее нужно? Почему вдруг всплыл Максим?

– Ваня, организуй нам кофе, голубчик, – сказал Барский Кузьеву, обращаясь к нему на «ты», хотя был лет на двадцать моложе, и с тем особым «голубчик», который сразу обозначил и полную зависимость хорька от КГБ, и его, Барского, высокую в этой конторе должность. Потому что никто, даже сам председатель президиума коллегии адвокатов, не смел говорить хорьку «ты». Впрочем, кто же не знает, что во всех учреждениях начальники отдела кадров – это номенклатура *органов*...

– Один момент, – сказал хорек и, прихрамывая на левую ногу, раненную, как все знали, во время войны, вышел из кабинета.

Барский проводил его взглядом и повернулся к Анне:

– Нет, Анна Евгеньевна, ваши связи с мужчинами не угрожают безопасности нашей страны. Тем более что Раппопорт – это дело прошлое. Хотя, честно говоря, он-то нанес ущерб нашему государству, и не без помощи адвокатов. Но, как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Правда?

На его губах еще была улыбка, но глаза уже не смеялись. «Теперь он пробует смягчить удар и подбирает ко мне ключи, – подумала Анна. – Чего он хочет?»

– Впрочем, – вдруг сказал Барский, словно прервав себя, – что это я, в самом деле? Будто ключи к вам подбираю, вы же сами адвокат. И я, между прочим, тоже выпускник МГУ. Правда, я раньше вас окончил. Вы четыре года назад, верно?

– Что вы хотите? – холодно спросила Анна.

Он посмотрел на нее, выдерживая паузу и словно оценивая ее заново. Потом хмыкнул не то озадаченно, не то удовлетворенно, вытащил из кармана пиджака очки, словно хотел взглянуть ее пристальней, но тут же сунул их обратно.

– Ладно, давайте к делу, – сказал он. – Я, правда, подготовился к длинному и осторожному разговору. Но вижу, что нам ни к чему Раппопорт и с вами нельзя играть в эти игры, верно?

Анна молчала. Барский явно хочет показать, что они могут пришить ей соучастие в делах Раппопорта.

– И вообще, – продолжал Барский, – мне кажется, я плохой знаток психологии, особенно женской. Я хотел, чтобы у нас было дружеское знакомство, а вы как-то сразу замкнулись. И это моя, дурака, вина. Честно говоря, когда я встречаю таких ярких женщин, я робею и сразу беру неправильный тон. Особенно когда на столе пусто. Где же этот *пой*? – И он с досадой повернулся к двери. – Ага, наконец-то!

В открывшуюся дверь, обитую темным, под кожу, дерматином, секретарша Кузьева вносила поднос с кофейником, коробкой шоколадных конфет и сахарницей. За ней, на втором подносе, сам Кузьев нес бутылку шестизвездочного армянского коньяка «Арагат», рюмки и тарелку с яблоками.

«Ни хера себе! – подумала Анна. – Яблоки в апреле! Наверняка Кузьев сам сгонял на второй этаж в персональный буфет председателя президиума. Только там бывают яблоки и коньяк. Но, черт возьми, кто же этот Барский в КГБ, если сам хорек перед ним так стелется?»

– Вот это другое дело! – одобрительно сказал Барский и небрежным жестом смел деловые бумаги со стола Кузьева, освобождая место для подносов. И взглянул на Кузьева: – Спасибо, голубчик. Ты, я знаю, курильщик, а у меня аллергия на дым. Так что можешь пока там покурить, в приемной.

– Конечно, конечно... – ответил Кузьев и, прихрамывая меньше, чем обычно, поспешно ретировался за дверь.

Только тут Анна вспомнила, что Барский назвал этого хорька еврейским словом «поц», и удивилась про себя: неужели в КГБ ругаются по-еврейски? Это невероятно!

– Вам коньяк в кофе или отдельно, Анна Евгеньевна? – спросил Барский, держа на весу над рюмкой уже открытую бутылку «Арарата».

– Кто вы и что вам нужно? – снова холодно сказала Анна, глядя ему прямо в глаза.

– Моя фамилия Барский, Олег Дмитриевич...

– Это я уже слышала. И вы из КГБ. И хотите, чтобы у нас было дружеское знакомство. Зачем?

Он выдержал ее взгляд и улыбнулся без всякого раздражения:

– Все-таки вам коньяк в кофе или в рюмку, Анна Евгеньевна?

Гм, подумала Анна. В принципе, она любила таких сдержанных мужчин, которых нелегко вывести из себя, в этом всегда был какой-то вызов, мимо которого она не могла пройти спокойно. Вот и теперь она сказала с усмешкой:

– Если вы действительно готовились к нашему знакомству, то должны были изучить мои привычки. Мне коньяк в кофе или в рюмку?

– Ну, не настолько досконально... – несокрушимо улыбнулся Барский, наливая коньяк в обе рюмки. – К сожалению, этот хорек не дал нам коньячных рюмок. Прощу!

Ощущение опасности, исходящей от этого Барского, и запах хорошего коньяка, смешанный с запахом кофе, вызвали у Анны такое острое желание закурить, что она даже поймала свои пальцы на нетерпеливом движении к сумочке. И тут же, словно прочитав ее мысли, Барский вытащил из кармана пачку «Данхилл» и протянул ее Анне:

– Прощу!

Анна усмехнулась. Он выгнал хорька под предлогом аллергии на дым, а сам курильщик. Она взяла рюмку и сразу сделала быстрый и большой глоток – чтобы не чокаться с Барским и чтобы добавить себе храбрости в разговоре с ним. Потому что что-то же этому мерзавцу от нее нужно! Затем достала из сумочки «Мальборо», закурила от услужливо протянутой золотой зажигалки и сказала, откинувшись в кресле:

– Слушаю вас, товарищ Барский. Кстати, вы кто – капитан? майор?

И тоном, и позой она как бы ставила себя в независимое положение. Но его только позабавила эта уловка. Он закурил свой «Данхилл», отпил коньяк, спросил:

– Анна Евгеньевна, вы никогда не задумывались, почему все ваши *друзья* – евреи?

Он сделал такое ударение на слове «друзья», что лучше бы уж прямо сказал «любовники». Анна взорвалась, но ее профессиональная выучка помогла ей и на этот раз. Сузив глаза, она глубоко затянулась сигаретой. Конечно, она знает, почему все ее мужчины были, есть и, скорее всего, всегда будут евреями. Потому что тот, в которого она втюрилась в пятнадцать лет так, что выбрала его своим первым мужчиной, был еврей. И с тех пор все ее мужчины были евреи, только евреи. Впрочем, нужно сказать, они тоже не обделяли ее своим вниманием. Наоборот, они всегда выделяли ее в любой толпе и компании, награждая пристальными взглядами и пытаясь немедленно завязать с ней знакомство. Хотя и этому было объяснение: став женщиной в пятнадцать лет, Анна расцвела в самом прямом и даже *ботаническом* смысле

этого слова. Ее грудь окрепла, налилась и дерзко выпирала из платья упругими сосками, ее глаза позеленели до изумрудного оттенка и стали как два студено-жарких озера, ее кожа налилась каким-то персиковым цветом, светом и соком, и даже ее волосы, льняные от природы, стали словно мягче, нежней. В ней появилась королевская стать, и она стала так красива, что не только прохожие оглядывались на нее на улицах, но и несколько кинорежиссеров всерьез приглашали ее пробоваться на главные роли в кино. А однажды, когда она шла по улице со своим первым мужем, их обогнали два подвыпивших мужика и один из них громко сказал другому: «Вот едрена мать! Ну как красивая русская баба, так обязательно с жидом!»

Теперь этот Барский повторил тех алкашей. «Почему все ваши *друзья* – евреи?»

Выдохнув дым, Анна сказала:

– А что? Я должна советоваться с КГБ, с кем мне... *дружить*? – И нажала на это слово так, чтобы у него не оставалось сомнений в том, что она имеет в виду. – Или на это у нас тоже процентная норма?

Барский озадаченно потер щеку ухоженными пальцами.

– Ну-ну... – произнес он. – Два ноль в вашу пользу. А ведь у нас дружеская беседа, и я хотел вас предостеречь.

– От чего?

– От ошибок. Вы же знаете, что сейчас некоторые люди еврейской национальности эмигрируют из СССР. Кто на свою *историческую* родину... – слово «историческую» он произнес с явной иронией, – а кто просто в Америку...

У Анны екнуло сердце и снова поплыло вниз, в глубину. Все ясно! Это по поводу израильского вызова-приглашения, который Аркаша нашел в их почтовом ящике месяц назад.

«Министерство иностранных дел государства Израиль подтверждает приглашение г-ну СИГАЛУ Аркадию Григорьевичу, 1934 года рождения, и его супруге г-же СИГАЛ Анне Евгеньевне, 1946 года рождения, переехать на постоянное место жительства в Израиль для объединения с семьей г-жи Цви Сигал, проживающей в Тель-Авиве, улица Ха-Ганет, 12».

Но они не заказывали этого вызова! Они не знают никакой Цви Сигал, не имеют никаких родственников в Израиле и не собираются уезжать из СССР! А этот вызов... Многие евреи, уезжая из СССР в Израиль, хотя бы вытащить туда своих друзей и сообщают израильским властям их адреса для отправки им израильского вызова. Но, зная, что в глазах советских властей получение израильского вызова равносильно намерению эмигрировать, Аркадий решил тут же отнести этот вызов в партком своего института. «КГБ подчас само инспирирует присылку таких вызовов евреям-ученым, – сказал он Анне, – чтобы посмотреть, как мы на этоотреагируем: отдадим в партком или сохраним на черный день; так они проверяют нашу лояльность». «Но это же постыдно, Аркадий! – возразила тогда Анна. – Это детский сад! Ты, лауреат Государственной премии, доктор наук, побежишь, как мальчишка, в партком с этой бумажкой? Неужели они не понимают, что с твоими допусками ты даже думать не можешь об эмиграции! А если бы думал, то уж наверняка получил бы такой вызов не по почте! Последний дурак знает, что вся иностранная почта у нас перлюстрируется!»

Но теперь оказывается, что Аркаша, как всегда, был прав: они таки идиоты в этом КГБ! Вызов – это их работа, и Аркадий должен был отнести этот вызов в партком!

– Но конечно, ваш муж вне подозрений, – вдруг сказал Барский, словно прочел ее мысли. – Мы знаем, что он получил вызов, но не отнес его ни в партком, ни в райком партии. И правильно сделал, между нами говоря. Я всегда был против этой унижительной формы проверки крупных ученых. Но, с другой стороны, Анна Евгеньевна, что бы вы сделали в нашем положении? Сейчас в стране у людей еврейской национальности больше двухсот тысяч израильских вызовов. Причем некоторые – такие, как ваш муж и его друзья, – занимают довольно

высокое положение. Каждый из них в любой момент может выкинуть нам этот фортель – подать на выезд. И пожалуйста – из-за одного инженера, которому вдруг стукнуло в голову эмигрировать, останавливай важное секретное производство! Из-за писателя, у которого, может, три книги в наборе, – типографию. Из-за сценариста или режиссера – клади на полку фильм! А государство уже миллионы потратило! Или недавно вообще скандальный был случай: скульптор один – вы, конечно, слышали его фамилию или даже знаете его лично, ведь у вас такой широкий круг знакомых! Так вот, этот скульптор выиграл конкурс на памятник Ленину. И по его проекту в Целинограде воздвигли семнадцатиметровую гранитную статую Владимира Ильича. Представляете? Семнадцать метров! Но этого мало – памятник пошел в серию для строек коммунизма. Сорок семь памятников Ленину по проекту этого скульптора по всей Сибири ставят! А он раз – и подал документы на эмиграцию! Ну? Как тут быть, Анна Евгеньевна? Снимать памятники? Это же *гевалт!*

Анна молчала. Она не знала, кто этот скульптор, и ей было плевать на те сраные памятники, которыми они, как матрешками, уставили всю страну. И что бы ни говорил этот Барский, что бы он тут ни плел и как бы мягко ни стелил даже еврейскими словами – это все равно про Аркадия и про то, что он не отнес израильский вызов в партком. Опять она его подставила!..

– Теперь вы понимаете, Анна, в каком мы положении? – сказал Барский, по-своему истолковав ее молчание и опуская ее отчество. – Двести тысяч потенциальных... даже не знаю, как сказать... дезертиров? Или даже хуже. Потому что сегодня еврей создает, например, новую систему навигации для наших ракет, мы тратим миллионы на исследования и опыты, а через пару месяцев – бац, он уже в Тель-Авиве передает результаты этой работы американцам! А с другой стороны, мы же не можем отстранить всех евреев от работы только за то, что на их имя пришел вызов из Израиля! ЦРУ только и ждет, чтобы мы лучших ученых – таких, как ваш муж, например, – отстранили от работы. Они тогда всех наших ведущих ученых, даже русских, засыпят такими вызовами. Чтобы все наше хозяйство парализовать! Вот ведь какая получается ситуация, понимаете?

«Действительно, – внутренне усмехнулась Анна, – замечательная идея! Почему бы и в самом деле Израилю не наслепать миллионов двадцать таких вызовов? Что будет делать КГБ, если и этому Барскому, и Андропову, и Сулову, и самому Брежневу придут израильские вызовы-приглашения эмигрировать к еврейским родственникам в Тель-Авив?»

Но вслух она сказала по-прежнему холодно и отстраненно:

– Нет, я не понимаю. При чем тут я? Мы с мужем никуда ехать не собираемся. К тому же я не еврейка, что вы, конечно, знаете. Так о чем речь?

– Вот! – поспешно сказал Барский, радуясь, что все-таки заставил ее вступить в диалог. И одним глотком допил свою рюмку с коньяком. – Потому мы к вам и обращаемся, что не сомневаемся ни в вашем патриотизме, ни в вашем муже! Вы дружите со многими талантливыми евреями – учеными, инженерами, адвокатами, писателями. Вы могли бы принести нашей стране большую пользу. Как ваш отец. Подождите! – Он жестом предупредил ее возмущение. – Никто не говорит, что вы должны доносить или, проще говоря, *стучать* на тех, кто хочет уехать. Не об этом речь, Аня. Тоже ничего страшного, между прочим, но мы рассчитываем на вашу помощь как раз в обратном. Нам нужно знать, кто *не* собирается уезжать. На кого можно положиться хотя бы в ближайшие два-три года. Понимаете? Почему вы не пьете?

Анна обратила внимание, какими нервными движениями она загасила сигарету в пепельнице. Напрасно! Это выдало тот буквально желудочный страх, который леденит ее душу с того момента, как Барский назвал свою контору. Какие скоты! Вербовать ее – а через нее и Аркашу – в стукачи! И шантажировать ее Раппопортом!

– Знаете, Анна, – доверительно улыбнулся Барский, – мне сказали, что ваши друзья иногда называют вас не Анной Евгеньевной, а Анной *Евреевной*. То есть доверяют вам, как своей. И наверняка обсуждают при вас и вашем муже, ехать им или не ехать. Нет, подождите! – Он

поднял руку, снова предупреждая ее реакцию. – Мы не просим вас агитировать их ни «за», ни «против». И вообще, можете не сообщать нам, кто хочет ехать. Ну, едут и Бог с ними, воздух тут чище будет. Хотя именно из-за них и на таких, как ваш муж, тоже падает тень подозрения. И когда нам звонит Устинов и спрашивает, кому доверить разработку стратегической проблемы – Абрамовичу, Сигалу или Иванову, – что я должен ответить? Могу я поручиться, что товарищ Сигал не закончит решение этой проблемы в Тель-Авиве? Вот я и прошу вас, Анечка, помогите! Не мне и не КГБ, а своим же друзьям и своему мужу! Если мы будем знать, что на них можно положиться, в этом нет ничего дурного. Разве это донос – сказать о честном человеке и патриоте, что он честный человек и патриот? А? Особенно если это для его же пользы!

«Красиво, – профессионально отметила про себя Анна. – Как он красиво, сукин сын, все построил!»

И она непроизвольно взялась за рюмку, которую даже не заметила, когда выпила. А Барский мгновенно – но не суетливым, а каким-то артистично-гусарским жестом – долил коньяк в ее рюмку, одновременно заполняя паузу еще более доверительной информацией:

– Я вам больше скажу, Аня! Откровенно, честное слово! Вот сейчас приближается сто десятая годовщина рождения Ленина. А лучшие фильмы о Ленине сделали в свое время евреи – Каплер, Юткевич, Донской. Но теперь вопрос: кому поручить создание нового фильма? Доверишь какому-нибудь Герману или Авербаху, а они, как тот скульптор, сделают фильм – и за границу! Это же скандал! Вы понимаете, в какой мы ловушке?

– А если я откажусь? – решила она.

– Ну, зачем же так сразу, Анна? Я ведь на вас не жму. Хотя, честно сказать, мог бы. И по линии Раппопорта, и по линии отца. Верно? Но у нас дружеская беседа, и я не прошу вашего ответа сегодня. Даже когда дело касается ваших клиентов, вы же не принимаете решений, не обдумав всех последствий, так? Ну а тут тем более! Вы взвесьте все «про» и «контра». А через недельку-другую я вам позвоню, и мы опять поболтаем. Не здесь, конечно, и не у нас в конторе, а в нейтральной обстановке. Главное, Аня, поймите: я не прошу вас быть доносчицей. И, если вы заметили, не покупаю вас соблазнами высокой карьеры. Хотя, как вы знаете, у нас есть возможности влиять как на взлеты, так и на падения карьер. Но это я так, к слову, а вы, конечно, не из тех женщин, которых покупают. Поэтому я предлагаю вам и вашему мужу просто помочь вашим же друзьям – да и самим себе тоже – сохранить работу и репутацию людей, на которых может положиться государство. По-моему, это даже благородно, разве нет?

«Надо встать, – подумала Анна. – Надо встать и послать его к чертям собачьим. Нет, еще грубей – матом, чтобы отрезать сразу и навсегда! „По линии Раппопорта и по линии отца“! „Сохранить работу“! Какая сволочь! Ну, Аня! Встань, плюнь в его гэбэшную морду и уйди красиво!..»

Но какая-то сила, а точнее, гипноз той организации, которую представлял этот Барский, удержали ее в кресле. А он снова расценил ее молчание по-своему, улыбнулся самодовольно и чокнулся своей рюмкой о ее рюмку:

– За дружбу, Анна Евгеньевна. Я уверен, что вы правильно решите эту задачу. Вот моя визитка. Можете звонить мне в любое время. А что касается этого... ну, вызова израильского, то вы его выбросьте от греха подальше. Ладно?

И он прямо, в упор посмотрел Анне в глаза. Не то предупреждал, не то уже отдавал приказ.

3

Анна вышла на улицу и только тут почувствовала, как устала. Было такое ощущение, словно она только что с трудом вынырнула из-под свинцовой океанской волны – обессиленная и оглушенная. А здесь, на берегу весенней московской жизни, никто и не знал о существовании того давящего подводного мира. По мостовой катили и гудели машины; на углу Пушкинской улицы и Страстного бульвара шестнадцатилетние девчонки в коротких платьях ели эскимо; у кафе «Лакомка» прохожие раскупали раннюю в этом году мимозу; возле кинотеатра «Россия» очередь змеилась на новый фильм с Вячеславом Тихоновым; под окнами «Известий» толпа зевак рассматривала фотографии мировых событий и очередную карикатуру на Джимми Картера с подписью: «На службе сионизма». А на Пушкинской площади брэнчала гитара, и молодежь толпилась под памятником в ожидании свиданий. Мимо них по улице Горького шла яркая, праздная, весенняя толпа – москвичи, иностранцы, туристы из провинции.

Еще недавно, всего пару часов назад, Анна была такой же, как они, – со *своими* друзьями, с трудной, но интересной работой и весенними надеждами на что-то новое, летнее, романтическое. И все это – даже ее разговоры в тюремных изоляторах с преступниками, которых она бралась защищать в суде, – было ее, частное, на что никто не смел посягать. В этой своей жизни Анна жила легко, как рыба в воде: гоняла по Москве свою машину, тратила свои деньги, гуляла со своей собакой, ходила к своему гинекологу, общалась со своим кругом знакомых. Но, оказывается, нет! Оказывается, все это время кто-то следил за ней: Кузьяев заносил в картотеку ее проигранные и выигранные ею судебные процессы, а КГБ и Барский – ее любовные романы, знакомства, связи и, может быть, даже аборт. Чтобы в нужный *им* момент опустить в воду сачок, вытащить ее и всадить ей под жабры тонкую, почти незаметную булавку-микрофон, а потом опять бросить в воду и сказать: плавай, плавай, но помни, что теперь ты – наша, ты одна из нас и мы будем диктовать, как тебе жить, что думать, с кем встречаться и с кем спать...

Анна не заметила, как перешла через улицу к Пушкинской площади, села на скамейку и закурила. Она не знала, следят за ней сейчас или нет, да и не хотела знать. Пошли они в!..

Хипповатый парень с горбатым еврейским носом брэнчал на гитаре трем девчонкам модную «Из окон корочкой несет поджаристой», весенняя толпа плыла в обе стороны, но все они были для Анны уже из другого, свободного мира – они флиртовали, ели мороженое, нюхали мимозы, смеялись, играли на гитаре и вообще – жили естественно и просто, как хотели. Впрочем...

Анна вдруг подумала, что нет – наверно, и в этой толпе есть *меченые*. Может быть, даже десятки *меченых*. Она сунула руку в сумочку за новой сигаретой и наткнулась пальцами на жесткий маленький картонный квадрат. Ее пальцы замерли на миг, а потом вытащили визитку:

Олег Дмитриевич Барский
Телефон 243-12-27

И – все. Ни названия организации, ни должности, ни адреса. КГБ везде и нигде. Мерзавцы! Сразу, с первой минуты, послать ее в нокаут! «*Вы поддерживаете связь с Раппопортом?*» Но дело, конечно, не в Максиме, который уже стал легендой московских евреев. Дело в ее муже. «*Могу я поручиться, что товарищ Сигал не закончит решение этой проблемы в Тель-Авиве?*» Вот в чем корень! Им позарез нужно, чтобы Аркадий с его мозгами нового Эйнштейна возглавил какой-то очередной проект, но они хотят связать и его и ее сотрудничеством с КГБ. А иначе они будут шантажировать ее романом с Раппопортом и темным бизнесом ее отца. Но что они могут сделать старику-алкоголику да еще бывшему эзку? Скорее всего, ничего, и, значит, здесь этот Барский блефует. Остается Максим Раппопорт. И это действительно серьезно, тут у них такие козыри, что, не дай Бог, можно легко загреметь по статье 88 за пособничество

в нелегальных валютных операциях. И следовательно, спокойно, Анна Евреевна, сейчас нужно стать адвокатом самой себе. Итак, закурим...

Конечно, ее роман с Раппопортом был нарушением неписаного закона профессиональных адвокатов – не переходить с клиентом на «ты» и уж тем более – не вступать с ними в интимные отношения! Еще в университете профессор Шнитке со своим жутким гомелевским акцентом кричал им на лекциях: «Адвокат не имеет эмоций! Адвокат не имеет души! Адвокат не имеет пола! Ви поняли меня, дети? Это вам не десять заповедей Моисея. Когда люди нарушают заповеди, они могут пойти в церковь и замолить свой грех. Но когда адвокат нарушает заповеди Шнитке, он перестает быть адвокатом и никакой Бог тут не поможет! Ви поняли меня, дети?»

Она поняла. И никогда не нарушала заповеди профессора Шнитке – ни разу и ни с кем. Кроме единственного клиента по фамилии Раппопорт. Для Раппопорта она сделала исключение. Потому что в нем была та самая мистическая сила эротического притяжения, которую она испытала с тем, *первым*, мужчиной. И, как и тот, *первый*, этот Раппопорт промчался сквозь ее жизнь, что называется, навывлет.

– Здравствуйте. Моя фамилия Раппопорт, с тремя «п», – сказал он, стремительно войдя в ее кабинет и блестя тем мягко-иронично-озорным блеском глаз, по которому Анна всегда отличала зерна таланта от плевел посредственности. – Я из нелегальной экономики, и в прокуратуре на меня два дела, Вы будете меня защищать. Цена меня не волнует, ваши служебные расходы – тоже. Если вам нужны ассистенты, консультанты, специалисты в любых областях – все будет оплачено. Ваша задача выиграть процесс...

– Все расчеты с клиентами в нашей коллегии идут через кассу, – сухо сказала Анна.

– Конечно. Я уже уплатил.

– Что вы уплатили? – не поняла она. Их кассирша никогда не брала у клиентов даже копейки без визы адвокатов.

– Тысячу шестьсот рублей. За ознакомление с делом.

– Сколько-о??? – ахнула Анна – их максимальная ставка за ознакомление с делом была тридцатка.

Раппопорт поставил на стол тонкий черный «атташе» с цепочкой, которая была пристегнута к браслету на его левом запястье. Пижон, подумала Анна. А он тем временем отстегнул браслет, нагнулся и поднял с пола емкий квадратный, из светлой кожи саквояж. Этот саквояж он тоже поставил на стол, открыл блестящие замки-защелки и стал вытаскивать толстые, аккуратно переплетенные тома.

– Что это? – спросила Анна.

– Это копии документов, которые имеет на меня прокуратура. Шестнадцать томов по первому делу, и еще двадцать два я привезу, когда вы ознакомитесь с этими. Вы бы не стали делать эту работу за тридцать рублей, правда?

– Но как они могли принять у вас деньги до моего согласия?

– Анна Евгеньевна, моя фамилия Раппопорт, с тремя «п». И это все объясняет...

И так было всегда. Этот человек был гением бизнеса, казалось бы немыслимого в условиях плановой экономики и диктатуры КПСС. Тридцати девяти лет, среднего роста, плотно сбитый в плечах, с короткой стрижкой темных волос и большим носом с горбинкой, он весь был сгустком веселой энергии, воли и талантливой изобретательности, направленной только на одно: аферы. Или, говоря языком уголовного кодекса, экономические преступления в *особо* крупных размерах. Здесь было все: золотые прииски Колымы, черная икра Каспия, старинные иконы русского Севера, подпольные цеха ширпотреба в Закавказье, джинсовая ткань для одесского самопала джинсов и даже мочевина для выделки кожи. Но ни в одном из тридцати восьми томов документов, собранных против него Прокуратурой СССР, не было ни одной

бумаги, действительно изобличающей именно его, Максима Раппопорта, в преступлении. Другие жулики, авантюристы – цеховики, главные бухгалтеры трестов, ответственные плановики, директора предприятий и даже министры – воровали, утаивали продукцию, переправляли ее с юга страны на север, и наоборот, и рано или поздно по пьяни, по глупости или по жадности попадали в поле зрения прокуратуры. А на допросах всегда всплывало имя Раппопорта – *главного консультанта*, придумавшего всю аферу. Но нигде, ни на одной бумаге не было его подписи или записи о получении им даже одной копейки. И это было его принципом.

– Понимаете, Анна Евгеньевна, – объяснял он Анне сразу после того, как она прочла первые шестнадцать томов его дела. – Когда имеешь дело с этой публикой, нужно с самого начала знать, что это плебеи и что они обязательно сторят на водке, бабах или просто на глупости. А моя фамилия Раппопорт, и каждая буква, даже лишнее «п», мне дороже всего золотого запаса Советского Союза. Поэтому я только консультант. Мои руки никогда не прикасались ни к одной деловой бумажке! Так что вы обязательно выиграете это дело, даже не сомневайтесь!

И, разбирая его остроумные, как в шахматных партиях, комбинации подпольного бизнеса с государственной экономикой, Анна видела, что этот человек, при его энергии, таланте, организаторских способностях и умении легко понять любой производственный или творческий процесс, мог бы стать новым Капицей, Королевым, Бондарчуком, Григоровичем. Он мог бы конструировать самолеты, сооружать мосты, расщеплять атом, находить нефть в тайге или снимать фестивальные кинофильмы. Но он занимался аферами, только аферами и ничем больше.

– Конечно, я толковей любого кремлевского министра, – соглашался Максим и объяснял Анне уже потом, в разгар их короткого романа: – Ведь эти вожди мирового пролетариата с трудом помнят таблицу умножения, а я в уме извлекаю квадратные корни. Они шестьдесят лет строят социализм, а я в одну минуту меняю схему и из этих же кубиков делаю нормальный капиталистический бизнес. Но парадокс даже не в этом, а в том, что это *вы* сделали нас, евреев, такими умными. Ведь за тысячу лет даже из воды можно, наверно, сбить сметану. Вот и вы – вы столько нас били, что нам пришлось выучиться на гроссмейстеров. Но как же я, гроссмейстер, могу работать на этих плебеев? Ради своего дебильного социализма они истребили шестьдесят миллионов человек и еще орут на весь мир, что они – лидеры человечества! И сами верят в это, клянусь! Хрущев верил, что с помощью совнархозов он догонит Америку, Брежнев верит в Госплан. Ну разве нормальный, уважающий себя человек может на них работать?

Анна выиграла тот процесс. И выиграла сравнительно легко, потому что, во-первых, все уже *сгоревшие*, то есть сидевшие в тюрьмах участники его афер, единодушно отказались от своих первоначальных, обвиняющих Раппопорта показаний. «Это было нетрудно, – небрежно сказал ей Максим потом, после процесса. – Их жены получают сейчас хорошую *пенсию*». А, во-вторых, прокурор во время процесса почему-то не был ни агрессивен, ни даже настойчив.

– Неужели ты купил прокурора? – спросила Анна Максима, когда на следующий после окончания судебного процесса день они вылетели в Сочи.

Держа на коленях свой неизменный черный «атташе», как всегда пристегнутый к запястью левой руки, Максим ответил:

– Анечка, *этого* тебе знать не нужно. Моя фамилия...

– Раппопорт с тремя «п», это я знаю! – перебила она. – Но неужели даже на курорт нужно тащить этот кейс? Это пижонство! Что у тебя там? Шифры на случай атомной войны, как у Никсона?

– Ты хочешь увидеть?

– Да.

– Прямо сейчас?

– Да!

– Хорошо. – И он, не отстегивая «атташе», правой рукой набрал на замке комбинацию каких-то цифр и откинул крышку. – Прошу!

Анна ахнула и невольно оглянулась по сторонам на спящих в ночном самолете пассажиров. «Атташе» был полон пачек американских долларов. В ужасе Анна даже закрыла рукой рот, чтобы не вскрикнуть. Она, член коллегии адвокатов, летит на курорт с любовником-валютчиком! Да тут не нужно даже обвинительных документов, а достаточно этого чемоданчика, чтобы получить «вышку»! И никакие адвокаты не помогут...

– Ты с ума сошел! Зачем тебе валюта?

– Это не мне. Это в Сочи уйдет одному человеку. И после этого у нас будет заслуженный отдых с ненавязчивым сервисом.

Отдых действительно был такой, о котором Анна не имела представления даже по фильмам из жизни американских миллионеров. Они жили в заповедниках, не нанесенных ни на одну карту Крымского полуострова. Они купались на пляжах, неизвестных даже любимым в Кремле космонавтам. Они ездили в черных правительственных лимузинах, жили на правительственных дачах и катались на ракетных катерах, принадлежащих, надо думать, лично Командующему Черноморским военным флотом. При этом сервис, который их сопровождал везде, был настолько ненавязчивым, что они ни разу не встретили хозяев этих вилл, лимузинов, заповедников и ракетных катеров.

Анна изумлялась:

– Макс, неужели мы в Советском Союзе?

– К сожалению, – отвечал он. – Но еще хуже то, что мы встретились слишком поздно, чтобы что-то менять. Ты знаешь...

Она знала. Она знала, что у него в «атташе» уже лежит разрешение на эмиграцию, которое он получил ровно через два часа после того, как вышел из зала суда. Хотя другим евреям такое разрешение приходится ждать по году. Но ведь он был Раппопорт – с тремя «п»! А кроме разрешения на эмиграцию, в его «атташе» уже лежал билет на самолет «Москва – Вена», рейс 228, на 19 июля 1977 года.

– Если бы я проиграла процесс, ты бы уезжал не на запад, а на восток – несмотря на все твои «п»! – говорила она ему и на пустынных золотых пляжах, и на текинских коврах правительственных дач, и в заповедных охотничьих домиках членов Политбюро.

Но она выиграла процесс, и через двадцать дней он уезжал, и от сознания этого неотвратимого расставания их секс становился в десять раз острее, чем обычно. Таким, каким он был у нее очень давно, в первый раз...

– Разве ты не можешь отложить отъезд? Ты же Раппопорт!

– К несчастью, не могу. Двадцать дней – это мой лимит, ни минуты больше, все рассчитано...

Тогда Анна не понимала, что рассчитано. Ей казалось, что при его возможностях он мог отложить свой отъезд хоть на год! Она поняла это позже, когда имя Раппопорта стало московской легендой. «Лимит» был потому, что его *вели* и он знал об этом. Его *вели* и тогда, когда он впервые появился в ее кабинете в коллегии адвокатов, и во время судебного процесса, и в самолете по дороге на юг. Только в Сочи, когда прямо от трапа самолета правительственная «Чайка» без номерных знаков умчала их на заповедную дачу, те, кто *вел* их в самолете, озадаченно почесали, наверно, в затылках и бессильно развели руками.

Но когда Максим и Анна вернулись в Москву, его *повели* опять. И видимо, он знал, что его поведут, и поэтому сказал ей еще в аэропорту:

– Все, Аня. Для тебя я уже уехал.

– Почему? – изумилась она.

– Так надо.

– Ты скотина!

Он посмотрел ей в глаза, и впервые за все время их знакомства в его глазах не было озорного блеска гения. В них была боль.

– Аня, моя фамилия Раппопорт, ты знаешь. Но я бы мог отдать им эту фамилию, всю, с тремя «п», и взамен взять тебя и уехать, я бы это сделал, клянусь моей мамой Ривой Исааковной. Но это *уже* невозможно. Ну, поверь Раппопорту!

Она обиделась. Она обиделась и прямо из аэропорта уехала уже не с ним, а одна, отдельно, в другом такси – как он и настаивал. Но она была уверена, что через день, ну, максимум через три дня, он позвонит, приедет с букетом крымских роз или просто ворвется в ее кабинет и скажет: «Аня, я все устроил, ты едешь со мной!» И до последнего дня, до 19 июля она каждый день и час была настороже, в ожидании его звонка, его стремительного появления.

4

Он не позвонил и не появился, и за два часа до отлета его самолета она прыгнула в свой «жигуленок» и сломя голову понеслась в Шереметьево. Но Максима там не было. Самолет, улетающий в Вену рейсом 228, был, туристы-австрийцы были, евреи-эмигранты – целых шестнадцать семей с детьми, чемоданами и баулами – тоже были. Но Максима Раппопорта не было. Она хотела спросить о нем у дежурной по посадке, но в последний момент остановила себя – вспомнила его «атташе», набитый американской валютой. Она была адвокатом и хорошо знала правила игры. Империя могла смотреть сквозь пальцы на хозяйственные преступления, но становилась беспощадной к тем, кто нарушал ее монополию на печатание денег и особенно на валютные операции. Даже «либерал» Хрущев вышел из себя, когда узнал о валютчиках Рокотове и Файбышенко. Хрущев приказал расстрелять их – до суда! А ведь у Рокотова было «все» двести тысяч долларов...

Сколько было у Раппопорта, Анна узнала через три недели. Впоследствии, когда история Раппопорта стала легендой, эта цифра все увеличивалась и увеличивалась, но, наверно, та, которую называли первоначально, по горячим следам, была ближе к истине.

У Раппопорта, сказали, был миллион долларов.

И это было похоже на него, он любил эффектные цифры. Уехать из СССР с неполным миллионом – нет, его самолюбие страдало бы от этого. А везти больше миллиона – миллион с каким-нибудь хвостиком – тоже было не в его характере, он не был мелочным. Поэтому Анна сразу поверила в эту цифру – у Раппопорта был миллион долларов стодолларовыми купюрами. Он скупал эти стодолларовые банкноты у мелких и крупных фарцовщиков в Москве, Ленинграде, Риге, Одессе и платил за них советскими деньгами, практически любую цену, а валютой – 125 и даже 150 долларов за сотенную купюру.

Конечно, он накололся на слежку, это было неизбежно. Но, говорила легенда, он продолжал открыто и даже вызывающе открыто ездить по Москве и другим городам со своим неизменным черным «атташе», пристегнутым к запястью левой руки. Он возил в этом «атташе» пачки советских и несоветских денег, встречался с фарцовщиками и скупал у них стодолларовые банкноты, которые затем аккуратно складывал в потайной сейф, вмурованный за камином в своей квартире на Фрунзенской набережной.

«На что он рассчитывал?» – недоумевали рассказчики легенды. Ведь в КГБ, в 10-м Направлении Политической службы безопасности, созданном специально для борьбы с «экономическими преступниками», то есть со спекулянтами иностранной валютой, знали о каждом его шаге и, конечно, о том, что он подал документы на выезд. Почему же они не взяли его? Не арестовали его при встречах с фарцой? А, наоборот, даже дали ему разрешение на эмиграцию! Разве они не понимали, что он скупает валюту не для того, чтобы оставить ее в московской сберкассе, а для того, чтобы вывезти?

Они понимали. Бригада офицеров КГБ, которая вела Раппопорта и его черный «атташе», понимала все. И тем не менее, они не мешали ему собирать этот миллион. И когда Раппопорт с какой-то любовницей, говорила легенда, укатил в Сочи, эти офицеры своими руками пересчитали валюту в его квартире, в секретном сейфе. Но в те дни там еще не было миллиона, там до миллиона недоставало каких-нибудь семидесяти тысяч. И они оставили в сейфе все деньги нетронутыми. Потому что у них были свои амбиции – они тоже хотели миллион. «Зачем рыскать по мелким валютчикам, арестовывать, допрашивать, вскрывать полы в их квартирах и вспарывать матрасы в поисках каких-нибудь десяти – пятнадцати тысяч долларов, – рассуждали эти гэбэшные волки. – Пусть Раппопорт делает эту работу, пусть он соберет миллион, а мы просто изыдем эти деньги в момент передачи их за границу».

Иными словами, они играли против него уверенно и спокойно, в солидной манере шахматного чемпиона Карпова. И именно ради этого миллиона попросили Прокуратуру СССР не быть слишком настойчивой в процессе Раппопорта. Ведь в конце концов что важнее – отправить Раппопорта в Сибирь за его аферы с икрой и мочевиной или заставить его собрать для государства миллион долларов?

Правда, чем ближе становился день отъезда Раппопорта, тем тревожней чувствовали себя эти офицеры КГБ – они не понимали, как он собирается переправить свой миллион за рубеж. Однако он «успокоил» их: за неделю до отъезда он привез в мастерскую «Кожгалантерея», что на Комсомольской площади, шесть огромных новеньких кожаных чемоданов и лично директору этой мастерской Арону Гуревичу заказал снабдить эти чемоданы двойным дном и двойными стенками. А на следующий день некто по имени Гриша Мендельсон передал начальнику шереметьевской таможни десять тысяч рублей с просьбой запомнить только одну фамилию – Раппопорт.

В КГБ поняли, что заветный миллион собран. И теперь им оставалось одно из двух – либо нагрянуть к Раппопорту домой и изъять миллион из сейфа за камином, либо ждать, когда этот миллион сам, в подкладке кожаных чемоданов, прикатит в Шереметьево к отлету самолета «Москва – Вена». Ясно, что они выбрали второй вариант. Ведь одно дело доложить на Политбюро, что в квартире у жулика по фамилии Раппопорт нашли миллион долларов, а другое – что изъяли этот миллион на таможне у еврея-эмигранта! «Миллион на таможне» – это международное событие, это героизм и бдительность органов безопасности страны, это ордена и медали, и статьи в прессе, и еще один виток антиссионистской кампании. Конечно, они выбрали второй вариант!

Между тем Раппопорт наглед уже буквально по часам. За четыре дня до отъезда он закатил у себя дома «отвальную» на сто персон. Там был цвет Москвы, Ленинграда, Риги и Одессы. Там был самый знаменитый бард со своей женой-кинозвездой, и цыгане из театра «Ромэн», и половина кордебалета Большого театра, и модные художники, и поэты, и кинозвезды, и капитаны самого популярного в стране телешоу «КВН», а также несколько дипломатов из посольств Нигерии, Австралии, Аргентины и США.

Конечно, за домом на Фрунзенской набережной, где жил Раппопорт, была установлена слежка, но «отвальная» прошла без инцидентов – гости пили шампанское и виски, ели черную икру из магазина «Дары моря» и шашлыки из ресторана «Арагви», слушали знаменитого барда, танцевали при свете камина с цыганами и девочками из Большого театра и фотографировались на память с хозяином. Наблюдая снизу, с набережной Москвы-реки, за окнами на шестом этаже и слушая знаменитого барда с помощью скрытых в квартире Раппопорта микрофонов, офицеры КГБ не переставали удивляться, каким образом в стране всеобщей поднадзорности, многолетних очередей на жилье и строжайшего учета распределения жилого фонда комиссиями старых большевиков, райкомами партии и Моссоветом этот аферист Раппопорт ухитрился, нигде не работая, получить пятикомнатную квартиру, да еще в доме категории «А-прим», который построен исключительно для высшего эшелона партийной номенклатуры! И, томясь в ночной сырости, плывущей с реки, они согревали себя зыбкой надеждой на то, что после триумфального завершения операции «Миллион на таможне» им тоже улучшат жилищные условия. Не в таком доме, конечно, но все-таки...

Под утро, когда гости Раппопорта стали расходиться, несколько групп «уличных хулиганов» ощупали иностранных дипломатов, когда те вышли от Раппопорта. Но ни пачек денег, ни вообще каких-либо пакетов не было ни у кого из тех, кто покидал в эту ночь квартиру Раппопорта. Правда, у барда была гитара, но, судя по той легкости, с какой его жена несла эту гитару за пьяным мужем к их «мерседесу», и гитара была пуста. И правда, у американского и австралийского дипломатов, которые вышли от Раппопорта почти последними, были фотоаппараты «Кэнон», но разве можно спрятать миллион долларов в миниатюрном японском фотоаппарате?

Весь последующий день, 16 июля, Раппопорт не то спал, не то приходил в себя с похмелья. А 17 июля в два часа дня он вызвал из соседнего таксопарка такси, погрузил в него шесть своих пустых кожаных чемоданов, сел рядом с водителем и приказал: «Поехали!»

Конечно, дежурная бригада наблюдателей сидела у него на хвосте, но паники еще не было – мало ли куда мог возить Раппопорт свои чемоданы? Может, валюта не поместилась в тайнике и он решил эти чемоданы переделать?

Однако, поколесив по центру Москвы и нигде не остановившись, такси с Раппопортом проскочило мимо Белорусского вокзала и продолжило путь по Ленинградскому проспекту – все дальше и дальше от центра Москвы, мимо Речного вокзала... загородных новостроек... Куда?

В Шереметьево?!

Когда такси свернуло к международному шереметьевскому аэропорту, паника воцарилась в эфире. Он что, с ума сошел? Или он с похмелья дату перепутал? Он же не сегодня летит, а послезавтра! Кто из КГБ дежурит сейчас в аэропорту? Что? В списках пассажиров сегодняшнего рейса номер 228, отбывающего в 15.20, тоже есть М. Раппопорт? Как это может быть? Что? У этих евреев каждый шестой – Раппопорт? Черт возьми, неужели у него два билета – один на послезавтра, на 19-е, а второй – на сегодня? А начальник таможи на месте? Нет его? Выходной? Господи, может быть, предупредить этого жида, что он не в свой день летит?

Предупредить, конечно, не стали. Успели организовать.

Пока Раппопорт стоял в очереди евреев-эмигрантов на проверку багажа, вся бригада гэбэшников, которая вела его последние семь месяцев, примчалась в Шереметьево и была на местах по *ту* сторону таможенного контроля. И даже майора Золотарева, начальника таможи, выдернули с его дачки. Еще бы! Ведь предстояло брать самого крупного валютчика и к тому же еврея-эмигранта! Миллион долларов! *Вот так эти эмигранты разворовывают советскую страну!*

Шесть филеров не только не спускали глаз с заветных чемоданов Раппопорта, но, стоя за ним в очереди, практически почти касались их ногами – каждый *вел* свой, персональный чемодан. А старшие офицеры КГБ, следившие за Раппопортом издали, нервничали особым радостным ознобом охотников, обложивших крупного зверя.

Между тем общая атмосфера в зале ожидания шереметьевского аэропорта изменилась совершенно неузнаваемым образом. Евреи-эмигранты, которым выпало улетать из Москвы 17 июля 1977 года, не могли понять, почему таможенники вдруг прекратили придирается к их багажу, перестали конфисковывать икру, мельхиор, лекарства и даже серебряные вилки, а стали наспех просматривать один-два чемодана, спешно шлепать штампы в зеленые проездные визы и торопить: «Следующий! Быстрее! Проходите! Следующий!»

Следующим – наконец! – был Максим Раппопорт. Он ничего не замечал вокруг себя – ни слезки, ни спешки таможенных инспекторов. И матерые гэбэшные волки ловили свой кайф – они снимали Раппопорта скрытыми фото- и кинокамерами – и позволили ему самому, собственноручно принести на таможенный стол все шесть его подозрительно легких кожаных чемоданов и неизменный черный «атташе».

Так кот растягивает процедуру поедания мышонка, попавшего ему в лапы, – кот играет с ним...

– Ваш билет, – сказал таможенный инспектор.

Раппопорт положил на стойку свой билет на сегодняшний рейс.

– Визу!

Раппопорт – с наигранной, конечно, беспечностью – предъявил листок с советской выездной и австрийской въездной визами-штампами.

– Откройте замки чемоданов.

– Они открыты.

– Что?

– Они не заперты.

– Гм... Откройте этот чемодан!

Это был пароль. Шесть офицеров КГБ в сопровождении майора Золотарева возникли за спиной таможенного инспектора, уже подготовленного к своей миссии героя-разоблачителя сиониста-валютчика.

Раппопорт удивленно посмотрел на них и с беспечным видом отбросил крышку первого чемодана.

В чемодане лежали семь нестираных мужских сорочек. И все.

Однако работники органов безопасности знали секрет Раппопорта, а потому таможенный инспектор уверенной и вооруженной ланцетом рукой аккуратно вспорол дно и стенки этого чемодана. А кинооператор вышел из-за стеклянного барьера и, уже не таясь, навел объектив на вспоротое днище этого чемодана.

Но там было пусто.

Между первым и вторым дном чемодана, а также между его двойными стенками не было абсолютно ничего, даже пыли.

Таможенник, удерживая на лице бесстрастное выражение, пропорол этот чемодан насквозь – вдоль и поперек его днища, крышки и стенок.

Пусто.

– Следующий чемодан! Открывайте!

Раппопорт пожал плечами и открыл второй чемодан.

В этом чемодане тоже были грязные мужские сорочки в количестве шести штук. И три пары мужских трусов.

Таможенник небрежно вышвырнул это барахло на пол и занес над пустым чемоданом свой остро отточенный ланцет.

– Может, не надо? – попросил Раппопорт, изображая невинность на своем носатом лице. – Хороший чемодан. Чем портить, могу подарить.

Но, как пишут в советских газетах, *врагу не удалось вывести из себя инспектора таможенной службы, границы советского государства охраняют выдержанные и тренированные офицеры*. Опытная рука снова аккуратно, без аффектации вспорол днище, крышку и стенки роскошного кожаного чемодана.

Однако и здесь не было ни-че-го.

– Следующий чемодан!

В следующем – третьем – чемодане была та же потайная пустота, прикрытая лишь двумя парами потертых джинсов.

– Следующий!..

Нужно ли рассказывать, как, позеленев от злости, они изрезали в клочья все шесть его чемоданов и буквально разрубили на куски его пресловутый черный «атташе»? Нужно ли говорить, что они обыскали его самого, просветили рентгеном и провели через унижительную процедуру проверки анального отверстия? И нужно ли говорить, что, кроме 90 долларов, которые эмигрантам разрешено легально купить в банке в обмен на 136 советских рублей, они не нашли в его карманах, в его зубах и даже в анальном отверстии абсолютно ничего ценного?

– Можете взять свои вещи!

Он собрал с пола свои рубашки, трусы и две пары джинсов, свернул одну рубашку и пару джинсов, а все остальные вещи бросил в урну и, обмахиваясь от жары австрийской визой, пошел на второй этаж аэровокзала, на паспортный контроль.

Здесь, уже перед выходом на посадку, офицеры КГБ остановили его:

– Одну минутку, Раппопорт!

– Простите?

– Где валюта?

– Вот... Вы же видели... – Он вытащил из кармана жалкую пачку – 90 долларов.

– Не морочьте голову! Вы знаете, о какой валюте мы говорим! Смотрите!

И они протянули Раппопорту несколько больших черно-белых фотографий, на которых Максим был снят в моменты приобретения валюты у фарцовщиков в Москве, Ленинграде, Риге и Одессе.

– Итак! Или вы скажете, где эта валюта, или мы снимем вас с рейса!

– Ах, *эта* валюта! Вот вы что искали! – воскликнул Раппопорт. – Но, дорогие, вы бы так и сказали с самого начала! А то изрезали такие прекрасные чемоданы! И с чем я поеду? стыдно в Вене выйти из самолета!

– Не валяйте дурака! Ну!

Глубокая печаль легла на носатое лицо Максима Раппопорта.

– Разве вы не знаете, что случилось, товарищи? – сказал он. – Эти жулики надули меня. Ужасно, страшно надули! Они же подсунули мне фальшивые стодолларовые купюры! Я собирал их по всей стране! Я так старался – вы же видите! – Он кивнул на уличающие его фотографии. – И что? Боже мой, вчера ночью я чуть не получил инфаркт! Я показал эти гребаные деньги американским и австралийским дипломатам, и они тут же сказали, что все мои деньги – туфта! Подделка! Даже нигериец понял это с первого взгляда! И я их сжег. А что мне оставалось делать? Я сжег их в камине. Позвоните вашим людям, они, наверно, уже сидят в моей квартире, и попросите их пошуровать в камине как следует. Эти фальшивые деньги плохо горят, и, я думаю, там еще можно найти какие-то клочки...

Но им не нужно было звонить в бывшую квартиру Раппопорта, они уже разговаривали со своими коллегами, которые помчались на Фрунзенскую набережную, как только оказалось, что и третий чемодан Раппопорта пуст. И эти коллеги уже сказали им, что в камине среди груды пепла они нашли 649 несгоревших клочков американских стодолларовых купюр. «Он сжег миллион долларов!» – кричали они в телефон.

– Что же делать, дорогие мои? – грустно сказал Максим Раппопорт окружившим его офицерам КГБ. – Как говорил мой папа Раппопорт, с деньгами нужно расставаться легко. Даже с миллионом. «Даже миллион, – говорил мой папа, – не стоит буквы „п“ в нашей фамилии». Я могу идти?

Они молчали.

Раппопорт пожал плечами и пошел на посадку в самолет, все так же обмахиваясь австрийской визой и держа под мышкой сверток с джинсами и рубашкой.

Они смотрели ему вслед до самого конца, до отлета его самолета.

А назавтра эксперты КГБ доложили, что спектральный и химический анализы обгоревших клочков стодолларовых купюр, найденных в камине Максима Раппопорта, показали совершенно определенно: это были настоящие, подлинные американские деньги! Но даже и в этот день они еще не поняли, что же случилось. Неужели Раппопорт сам, своими руками сжег миллион долларов?

И только через неделю, ночью, говорит легенда, один из этих гэбэшников, самый главный, проснулся в холодном поту оттого, что во сне, в ужасном, кошмарном сне, он вдруг увидел, как обвел их Раппопорт. Он действительно сжег миллион долларов – десять тысяч стодолларовых купюр! Он сжег их на глазах трех американских и двух австралийских дипломатов. Но до этого каждый из дипломатов получил от Раппопорта микропленки с фотографиями этих купюр, а также перечень их номеров. И они сами, своими глазами сверили эти номера с оригиналами. А потом составили акт об уничтожении этих денег путем сожжения. И сфотографировали это сожжение своими фотокамерами «Кэнон».

А там, в США, на основании этих документов, заверенных представителями двух посольств, американский федеральный банк выдаст Раппопорту ровно миллион долларов – взамен уничтоженных.

Конечно, КГБ бросилось искать тех иностранных дипломатов, которые были на «отваль-ной» Раппопорта. Но оказалось, что они – все пятеро – улетели из Москвы одновременно с Раппопортом – 17 июля 1977 года.

Впрочем, эти детали молва могла и перевернуть для пущей красоты легенды. Однако все рассказчики этой нашумевшей в Москве истории неизменно заключали ее одной фразой: КГБ, говорили они, играло против Раппопорта уверенно, как Карпов. А он переиграл их, как Раппопорт с тремя «п».

Теперь, сидя на скамейке у памятника Пушкину, Анна гадала, почему Максим не сказал ей тогда о том, что их *ведут*? Неужели весь этот их молниеносный роман нужен был ему только для отвода гэбэшных глаз? Нет, это не так, иначе бы он держал ее при себе до последнего дня. А он, наоборот, оттолкнул ее от себя, вывел из-под слежки. Но и – забыл. Два месяца назад кто-то из «доброжелателей» сказал ей, что Максим в Бостоне и что с ним «все в ажуре». Но за все время с момента отъезда он ни разу не позвонил ей, не написал...

«Впрочем, к черту этого Раппопорта!» – горько сказала себе Анна, выкуривая третью, наверно, сигарету. Она должна думать о себе. Да, она скрыла от мужа свой роман с Максимом. Это было нечестно, отвратительно и вдвойне несправедливо по отношению к Аркадию. Пять лет назад, в самый жуткий, самый отчаянный момент ее жизни, когда она была на грани черт те чего – самоубийства, безумия, блядства, алкоголизма, Аркадий подобрал ее, оставленную мужем и отвергнутую отцом, привел в свою запущенную холостяцкую квартиру и сказал: «Живи здесь. Закончишь университет, подарю собаку».

Но собаку – золотого эрдельтерьера из какого-то военного спецпитомника – он подарил ей куда раньше, вместе с обручальным кольцом, а когда она окончила университет, он вручил ей ключи от новеньких «Жигулей». Казалось бы, что еще нужно женщине? Муж – директор института, доктор наук, лауреат Государственной премии, работа – в самой престижной адвокатуре Москвы, квартира в центре города, машина – последняя модель «Жигулей», и даже собака – чистейший золотой терьер! Но, оказывается, кроме всех земных благ, женщине в тридцать лет нужно еще что-то. А точнее, любовь – как ни банально это звучит. И не то, чтобы Аркадий не любил ее, отнюдь! Он любил ее, но – словно издалека. Во-первых, он неделями, а порой и месяцами пропадал в своем закрытом и сверхсекретном институте в Черноголовке, в двух часах езды от Москвы. А во-вторых, даже когда он приезжал в Москву или она ездила к нему в Черноголовку, он все равно *отсутствовал*, он мог сутками сидеть за столом за своими расчетами, не видя и не слыша ее и не обращая на нее никакого внимания! И даже в постели – она ощущала это – даже в самые интимные моменты, он не был с ней полностью, *всей* своей душой и сутью. А одновременно обитал в каком-то ином измерении – в своих заумных экспериментах, формулах, математических и физических теориях и гипотезах. Его мозг очередного Эйнштейна, который так интересуется этого Барского и маршала Устинова, даже в самые святые для женщины минуты соития продолжал работать черт знает над чем, и это расхолаживало Анну, выключало в ее душе и теле какие-то главные эротические центры и инструменты и не давало этому телу свободы обратиться в органоу, в оркестр и взмыть над постелью в бетховенском крещендо.

Иными словами, Анна была, как говорят, *при муже*, и видела, что ему нравится иметь такую молодую, красивую *русскую* жену, ходить с ней в гости в Дом ученых или приглашать к ним кучу знакомых физиков, и он готов был – в свободное от работы время – баловать ее нарядами и цветами, но даже и в этих нечастых совместных развлечениях *она* была *при нем*, а не он *при ней*, и рано или поздно какой-то Раппопорт должен был возникнуть в ее жизни, как Брон-

ский возник когда-то у ее тезки Анны Карениной. И все те нереализованная чувственность и эротическое безумие, которые в жизни с Аркадием сдерживались и накапливались в ней плотной его отстраненности, обрушились теперь на этого Раппопорта и сводили их обоих с ума на черноморских пляжах какой-то взаимной ненасытной сексуальной жадью, но... в отличие от Вронского... Раппопорт улетел за границу один, без Анны. Оставив ее словно зависшей над самым мучительным вопросом женского бытия: что делать? что делать со своей жизнью и жадью любви? Биологические часы, заложенные Богом в душу и кровь каждой женщины, все громче и настойчивей напоминали, что ей уже тридцать два (тридцать два!!!), но даже и после отъезда Раппопорта она еще пыталась отложить кардинальное решение своих проблем, уйти от них с головой в работу, в светскую суету – ведь в конце концов у нее уже есть ребенок (пусть даже в Америке) и у нее есть муж – пусть даже в Черноголовке...

Час назад товарищ Барский выбил ее из-под страусового крыла этих отговорок и обнажил перед ней всю иллюзорность ее так называемой «стабильной» жизни. Какая тут к черту стабильность, когда любой гэбэшник может, оказывается, подцепить ее на крючок шантажа и открыто, в кабинете чуть ли не самого председателя коллегии адвокатов, вербовать в стукачки! И ведь нет от них спасения! Если она не подчинится Барскому, он сломает карьеру мужа и ее собственную. А если подчинится... Нет! Об этом даже подумать тошно!

Барский, Кузьяев и все остальные хорьки этой «великой державы» – она знает их по своей адвокатской практике. «Они просто поимеют тебя и в хвост, и в гриву», – холодно и ожесточенно сказала себе Анна, даже не подсчитывая все «про» и «контра». Да и что тут было подсчитывать, если они знают о ней все или почти все и могут действительно пришить ей 88-ю за недоносительство и пособничество валютчику! Но где же выход? Эмигрировать? Выскочить из-под этого незримого, но постоянного, как атмосферное давление, гнета КПСС, КГБ и марксизма-ленинизма? Бежать, как бегут из этой страны десятки знакомых евреев и еще тысячи незнакомых? Но она уже пробовала это однажды, и это кончилось полной катастрофой. «Здесь твоя страна! – кричал ей отец. – Здесь!..»

Анна вытащила последнюю сигарету из пачки и закурила, прищурившись в задумчивости. Никакая это не ее страна и нечего дурачить себя на этот счет. Это их страна – Барского, Кузьяева, Брежнева, Андропова и им подобных. А там, в Америке, у нее сын. Пусть он забыл ее, и пусть он зовет своей мамой уже другую женщину, Анна имеет право требовать, чтобы ее отпустили к нему! «Нет, *имела*, а не имеет!» – вдруг жестко одернула себя Анна. Раньше надо было решаться! До появления Барского! А теперь стоит ей только заикнуться о ее праве уехать к сыну, как тут же всплывет «валютчик Раппопорт»! Но как же быть?

– Вы много курите... – сказал ей длинноволосый хиппарь с гитарой.

– Это последняя. Я бросаю!

Она встала, сделала последнюю затяжку и затоптала сигарету носком туфли. Потом вскинула голову и каким-то новым, перископическим зрением увидела всю улицу Горького, Тверской бульвар и Пушкинскую площадь. И от этого нового, провального чувства, запоминающего каждую деталь вокруг: молодого хиппаря с гитарой... грустного араба Пушкина, окруженного цепями... фонтан и очередь перед кинотеатром «Россия»... старинные уличные часы... – от сознания, что все это свое, родное ей придется бросить, у Анны вдруг подвело желудок и стеснило грудь. Ей стало жаль себя – кто дал этим мерзавцам право разрушить ее жизнь? Ведь формально она даже сверхпатриотка – она не уехала из России, даже когда ее первый муж увез отсюда ее сына!..

Анна пошла вниз, в подземный переход через улицу Горького, но вдруг резкая трель милицейских свистков, топот, крики, хлесткие удары мордобоя и глухой звук падающих тел заставили ее оглянуться. И так, наполовину уже скрытая в переходе, Анна замерла. Позади нее возле памятника Пушкину творилось что-то ужасное. Группа мужчин и женщин стояла за цепью, у памятника, – стояла тесным кольцом и высоко подняв над головами самодельные

плакаты с шестиконечными звездами и от руки написанными словами «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!». Тот самый хиппарь, который две минуты назад мирно брэнчал на гитаре популярные песни, тоже был там, держал над головой свою гитару, а на тыльной стороне этой гитары была нарисована синяя шестиконечная звезда. Рядом с ним были маленькая седая женщина с желтой шестиконечной звездой-нашивкой на груди и какой-то старик, похожий на знаменитого комика Герцианова.

– Отказники, – сказал кто-то рядом с Анной.

Анна, замерев, видела, как со всех сторон – с Тверского бульвара, с улицы Горького, от метро «Пушкинская», из подъезда типографии «Известий» и, грубо толкнув ее, из подземного перехода – к этой группе стремительно бегут милиционеры, дружинники с красными повязками на рукавах и какие-то крепкие, спортивного вида молодые мужчины в серых костюмах. Первые из них, как авангард, уже врзались в группу отказников-демонстрантов и без слов, с ходу, наотмашь, кулаками в челюсти и ногами в животы били этих несопротивляющихся людей, а вторая волна атакующих крутила им руки, вырывала плакаты и топтала их ногами. Какая-то девушка упала, хиппарь с гитарой кричал: «Звери! Да здравствует свобода!»

Боковым зрением Анна увидела на противоположной стороне улицы высокого иностранца, который поднял над собой фотоаппарат. Но и его тут же сбили с ног, вырвали камеру, и эта камера хрустнула под чьим-то каблуком.

А из-за кинотеатра «Россия» уже выскочил «черный ворон», рванул прямо к памятнику Пушкину, подпрыгнул при ударе передних колес о тротуар и лихо тормознул на чугунных пушкинских цепях в полуметре от мордобоя. Мигом распахнулись железные задние дверцы «воронка» – и вот уже избитых, окровавленных, в порванной одежде демонстрантов с их изуродованными плакатами и разбитой гитарой впихивают, заталкивают и кулами швыряют в темную глубину машины. А они еще рвутся, сопротивляются и кричат: «Мы мирная демонстрация! Вы подписали Хельсинкское соглашение!...»

Анна, онемев, продолжала стоять на ступеньке подземного перехода. Все, что она видела, было как в кино, как во сне, как в кошмаре, который невозможно остановить, – мигом опустевшая Пушкинская площадь, словно сдуло гуляющую толпу, минутный мордобой, хруст плакатов под ботинками дружинников, крики женщин, разорванная одежда, выбитые с кровью зубы и этот «воронок», поглотивший всю группу демонстрантов, хлопнувший задними дверцами и тут же газанувший в сторону близкой Петровки, где находится Московское управление милиции.

И – все. Спортивного вида молодые люди быстро подобрали клочки плакатов и чью-то туфлю, дружинники подошвами ботинок затерли пятна крови на асфальте и разошлись, мирно закуривая, и уже новые волны гуляющей публики накатили на площадь. Люди, не видевшие этого блиц-погрома, громко смеялись, флиртовали на ходу, ели эскимо, раскупали у торговки мимозу. И замершее было движение машин возобновилось, «Жигули» и «Волги» зашуршали шинами и загудели при повороте на Тверской бульвар. И все так же беззвучно струился фонтан перед «Россией», и все так же безмолвно и грустно смотрел на этот народ его самый великий поэт Александр Пушкин. Сто пятьдесят лет назад он тоже просил царя разрешить ему поехать за границу, но царь отказал даже ему, Пушкину, и Пушкин – первый русский поэт-отказник – застрял в России навек и был тут убит. Теперь, огражденный цепями, он стоял на улице имени еще одного пленника – Максима Горького. Этот «великий пролетарский писатель» просил уже другого царя, Иосифа Сталина, отпустить его за границу. Но – с тем же результатом. И теперь и он, *отказник* Горький, тоже окруженный чугунными цепями, памятником стоит в конце своей улицы, перед Белорусским вокзалом.

Прислонившись спиной к стенке подземного перехода, Анна пыталась побороть ватную слабость в ногах. Господи, не так-то легко уехать из этой страны! Ни при царях, ни при генсе-

ках. А что, если и ей – *откажут*? Ведь она даже не еврейка. Неужели и ей предстоит все это – мордобой, кровь, выбитые зубы и темная пасть «черного воронка»?

Страшно.

Этот страх удержал русского дворянина Пушкина от антицарских демонстраций и русского босняка Максима Горького – от антисталинских. А евреи – откуда у них храбрость, вот так, с гитарой и самодельным плакатом, выйти на площадь?

Анна искала в себе эту храбрость подставить под гэбэшню-кремлевский кулак свои такие красивые, такие белые зубы, но во всем ее теле был только страх, ничего, кроме страха.

«Максим!» – крикнула она в душе.

– Вам плохо? – спросил кто-то рядом.

Анна открыла глаза.

Два лилипута стояли перед ней – метроворостый мужчина в цилиндре, строгом пиджаке и с сигаретой во рту, и изящная, как куколка, женщина.

– Вам плохо? – снова спросил лилипут у Анны.

– Очень... – сказала она. – У вас есть сигарета?

5

Каждый четверг, когда трехметровые стрелки часов на Спасской башне показывали 9.58 утра, длинный черный лимузин ЗИЛ-110 въезжал на Красную площадь и останавливался у Лобного места ровно в ста шагах от Кремля. Из машины выходил Михаил Андреевич Суслов – семидесятилетний, высокий, аскетически худой член Политбюро, которого за глаза называли «красным партайгеноссе» и «серым кардиналом» Кремля. В длиннополом габардиновом пальто образца 1955 года, серой шляпе и резиновых галошах, которые он не снимал с сентября до июня, Суслов, ни на кого не глядя, демократично шел в Кремль пешком – в отличие от всех остальных руководителей страны, которые в Кремль *въезжали*, отгороженные от народа глухими бархатными шторами на пуленепробиваемых окнах своих бронированных «ЗИЛов».

Зная об этой сусловской «демократии», *топтуны* – сотрудники наружной охраны Кремля – заранее очищали все пространство вокруг Лобного места от иностранных и советских туристов и зевак, и Суслов своей циркульной походкой пересекал Красную площадь, проходил через КПП под каменную арку Спасской башни и оказывался во внутреннем дворе Кремля. Здесь, в нише кремлевской стены, уже стояли два гренадерского роста солдата в парадной форме и старшина-разводящий, готовые через минуту, ровно в 10.00, выйти на Красную площадь для смены почетного караула у Мавзолея Ленина. И была какая-то внутренняя символика в неизменности этой многолетней процедуры: военный караул с автоматами на груди уходил, чеканя шаг, стеречь забальзамированное тело вождя мирового пролетариата, а главный блюститель чистоты ленинской теории через пустой кремлевский двор шагал на очередное еженедельное заседание Политбюро блюсти воплощение его бессмертных идей. Священная тишина внутри Кремля, Суслов в его вечном сером пальто и галошах, чеканящие шаг солдаты в зеленых мундирах и с «Калашниковыми» на груди, торжественный перезвон курантов на Спасской башне, построенной миланцем Пьетро Соларио в 1491 году, и огромный красный флаг на здании бывшего царского Сената, а ныне Правительства СССР, – все это создавало ощущение незыблемости и вечности коммунистической империи, раскинувшейся от Эльбы до Курильских островов.

На часах истории был 1978 год со дня Рождества Христова, канун 61-й годовщины Великой Октябрьской революции и 72-летия Леонида Брежнева. Империя российских коммунистов была в зените своего могущества: ей подчинялись больше ста народов в Европе, Азии, Африке и Южной Америке, ее межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками держали под прицелом все индустриальные центры США, ее СС-20 могли за минуту сорок секунд накрыть все населенные пункты Западной Европы, Японии и Китая, ее летчики, десантники и танкисты, переодетые под арабов, африканцев, вьетнамцев и кубинцев, воевали на Ближнем Востоке и устанавливали марксистские режимы в Анголе, Алжире, Бангладеш, Лаосе, Камбодже, Мозамбике, Эфиопии, Йемене и Индонезии, а ее дипломаты колесили по всему миру, диктуя ему кремлевские условия выживания. И главным дирижером грандиозного завоевания мира коммунистами был именно этот аскетичный старик в старом пальто и дешевых галошах.

До его первой роковой ошибки – афганской эпопеи – было еще почти два года.

Суслов пересек пустую Соборную площадь, миновал восьмидесятидвухметровую колокольню Ивана Грозного, старинный царь-колокол и Грановитую палату и взошел на боковое, восточное крыльцо древнего кремлевского дворца. Охранник предупредительно открыл перед ним высокую дверь с начищенной медной ручкой, и Суслов оказался в длинном и светлом мраморном вестибюле с гардеробом по левую руку. Здесь он снял пальто, шляпу и галоши, сдал их услужливой гардеробщице.

– Все в сборе? – спросил он у поджидавшего его помощника.

– Все. Как обычно, Михаил Андреевич.

Суслов кивнул и по широкой лестнице, покрытой красным ковром, поднялся на второй этаж, через помпезную ореховую дверь и аванзал с камином из зеленой яшмы вошел в знаменитый Георгиевский зал – гигантский беломраморный, шестидесятиметровый в длину и двадцатиметровый в ширину, с высоченными семнадцатиметровыми окнами, украшенный по потолку и стенам мраморными плитами с именами Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова и других российских полководцев. С барельефами Георгия Победоносца, поражающего дракона, на торцовых стенах. С сияющим паркетным полом из двадцати сортов редких пород деревьев – от индийского палисандра до африканской падуки. И с шестью ажурными многоярусными золочеными люстрами, каждая весом почти полторы тонны. До Октябрьской революции в этом зале русские цари давали торжественные балы, принимали зарубежных послов и вручали высшие награды империи. После революции здесь проходили партийные съезды, присуждения Сталинских премий и особо торжественные пиршества – по случаю победы над Германией, полета Гагарина в космос и т. п. А теперь каждый четверг тут заседал ареопаг партии – Политбюро ЦК КПСС. Суслов обошел стол заседаний, за руку поздоровался с каждым членом верховного органа власти: Брежневым, Косыгиным, Устиновым, Громыко, Черненко, Кулаковым, Андроповым и остальными и сел слева от Брежнева в старинное, как и у других членов Политбюро, царское кресло с витыми золочеными ножками, обитое шелком цвета георгиевской ленты. Надев очки, он придвинул к себе повестку сегодняшнего заседания.

И тут же все – и члены Политбюро, и секретари ЦК, и министры, и их многочисленные помощники и референты, сидевшие за подсобными столами, – подтянулись, деловито зашелетели бумагами, и Барский, тоже сидевший за подсобным столиком, понял, что с этого момента заседание Политбюро как бы началось, хотя Брежнев еще продолжал свою беседу с шефом КГБ Юрием Андроповым.

– Сёдня утром по Би-би-си... – говорил он с некоторым затруднением в речи, которое появилось у него в последние годы, – опять передавали про... вчерашнюю демонстрацию евреев на Пушкинской площади.

– Я знаю, – спокойно отвечал Андропов, крупный, с глубокой залысиной на высоком лбу и в тонких очках на тяжелом лице.

– Выходит, мы еще Щаранского не успели посадить, а уже другие воду мутят? – заметил Константин Черненко, еще только кандидат в члены Политбюро, но сидевший, на правах друга и помощника Брежнева, по правую руку генсека.

– Потому что этому Щаранскому надо было давно «вышку» вlepить, а не цацкаться! – вместо Андропова вдруг жестко произнес Федор Кулаков с другого конца стола. – И сразу стало бы тихо!

Андропов промолчал, и Барский знал почему. Дело еврейского активиста Щаранского, передавшего на Запад секретную карту лагерей и тюрем СССР, Политбюро обсуждало два месяца назад. Но, как и в истории с другим евреем, Эдуардом Кузнецовым, банду которого Барский в 1970 году взял прямо в аэропорту при попытке угона самолета на Запад, Брежнев не отважился вынести Щаранскому смертный приговор за «шпионаж» – побоялся потерять льготные условия закупок бурильного оборудования, компьютеров и зерна в США. В результате суд над Щаранским все откладывался, Картер, почуяв брежневскую слабость, стал грозить дипломатической изоляцией СССР, а евреи еще больше обнаглели в своих требованиях выпустить их из страны.

– Почему они именно возле Пушкина устраивают сборища? Кто им позволил? – уставился Кулаков на Андропова.

Этому новому, но нахрапистому претенденту на брежневский престол было ровно шестьдесят, но выглядел он на сорок семь: статный, широкоплечий, с крепким мужицким лицом и легкой сединой на висках, которая только оттеняла его молодость на фоне явно дряхлеющих Брежнева, Суслова, Устинова, Громыко и Черненко.

Андропов пожал плечами, но его холодные светлые глаза не уступили взгляду Кулакова. Барский хорошо знал этот взгляд своего шефа – безмятежная пустота, в которой невозможно прочесть ничего. Но не дай вам Бог встретить такую безмятежность в спрятанных за очками глазах хозяина КГБ.

– Ладно, начнем, – сказал Сулов, кашлянув в кулак и давая формальный старт заседанию. Будучи членом Политбюро с 1955 года, он на правах старейшины всегда вел заседания. – Первый вопрос: картеровская дипломатическая блокада и еврейская эмиграция. Вводную информацию по эмиграции от Комитета госбезопасности докладывает полковник Барский, начальник Еврейского отдела. Пожалуйста, полковник.

Барский, поднявшись, открыл свою папку. Вот и наступил его час – он делает доклад в Кремле! В зале, где в 1849-м император Николай Первый пожаловал дворянство его предку, купцу Аристарху Барскому. И где в 1936-м Иосиф Сталин вручил Сталинскую премию его отцу, композитору Дмитрию Барскому. А теперь его черед, он принимает участие в решениях вождей...

Впрочем, все его сообщение умещалось на одной страничке – таков был нынешний порядок. Несколько лет назад, когда Брежнев был здоров и любил обсуждать все проблемы подолгу, Политбюро заседало по шесть, восемь и даже по десять часов подряд. Но в последние пару лет старик и остальные патриархи явно сдали и, сами склонные к длинным речам, уже не хотели слушать чужих докладов больше минуты. А Брежнев после первого часа заседания вообще уезжал спать в Завидово, на свою ближнюю подмосковную дачу. Поэтому в первый час заседания Политбюро помощники старались втиснуть самые важные вопросы и Барский докладывал только основное.

Несмотря на новый нажим картеровской администрации, из 80 тысяч евреев, подавших на эмиграцию в этом году, разрешение покинуть страну получили лишь 8112 человек – в полном соответствии с январским решением правительства о сдерживании эмиграции. И никакие демонстрации отказников или истерия в западной прессе не повлияют на проводимую КГБ политику. В КГБ слабонервных нет. Однако в вопросах эмиграции существуют иные аспекты. Сам факт существования возможности для какой-то части населения уехать из СССР производит заразительное действие на другие, не еврейские группы. Инцидент с группой пятидесятников, которые ворвались в американское посольство и сидят там, требуя вывезти их в США, тому свидетельство. Одновременно наблюдается резкий рост активности немцев Поволжья, армян, закавказских украинцев и баптистов. Если раньше просьбы о выезде из страны носили единичный характер, то теперь налицо целые движения, выступающие с требованиями о разрешении массовой эмиграции. ЦРУ оказывает этим движениям денежную и техническую помощь и явно планирует использовать их в качестве рычагов для свержения советской власти. Об этом говорит анализ радиопередач «Голос Америки», Би-би-си и «Радио „Свобода“»: тема борьбы за так называемые „права человека“ заняла в их передачах ведущее место. Кроме того, резко возросли попытки и русской молодежи любым путем, даже с помощью фиктивных браков, выехать из СССР. Особую активность в этом проявляют жители Кавказа, где стоимость „еврейской невесты“ уже достигла 10000 рублей...

Тут Барский оторвался от текста и бросил быстрый взгляд на членов Политбюро, ожидая от них смеха или хотя бы улыбки.

Но патриархи партии не улыбались, их обвисшие от старости лица не выражали абсолютно ничего. И значит, заключил про себя Барский, все это им известно, даже цена «еврейских невест» в Грузии. А «молодежь» Политбюро – шестидесятилетние Кулаков, Мазуров, Демичев, Долгих и Рябов – сидели насупившись, не зная, куда клонят Андропов и его подчиненный. Они считали, что тут вообще нечего обсуждать, а следует прекратить всякую эмиграцию и закрыть страну.

Нужно закругляться, решил Барский, и поспешно зачитал последний абзац своего сообщения:

– Необходимо учитывать и международный фактор. Постоянные обращения советских евреев, немцев, крымских татар и других групп то в ООН, то к американскому конгрессу, то к лидерам западных компартий с просьбами о помощи компрометируют наше государство в глазах народов Южной Америки, Африки и Ближнего Востока, которые ведут борьбу за наш, советский путь развития. Можно с уверенностью сказать, что продолжение еврейской эмиграции в ее нынешнем виде, а также растущая активность сионистов, продемонстрированная ими вчера на Пушкинской площади, будут только способствовать усилению этих процессов и могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Все. Спасибо за внимание.

Закрыв папку, Барский с тревогой посмотрел на секретарей ЦК. Эта «заутреня» апостолов коммунизма хотя и отличалась от тайной вечери Христа помпезностью Георгиевского зала и возрастом самих апостолов, но имела с христовской «вечерей» и внутреннее родство: тут тоже был некто, готовящий гибель вождю. И сейчас этот тайный игрок делал с помощью Барского свой первый ход. Барский поразился, что понял это только теперь, в самом конце своего доклада, который вчера продиктовал ему Андропов. Черт возьми, на бумаге этот доклад выглядел вовсе не так вызывающе, как произнесенный вслух тут, прямо в лицо ареопагу партии. И от страха, что его, как пробную пешку, шеф намеренно подвел под удар брежневской когорты, – от этого страха у Барского мгновенно защемило дыхание.

– Гм... Гхм... – прокашлялся Брежнев и поднял на Барского свое бровастое лицо, обвисшее, как сырое тесто. – Получается как в анекдоте, да? Все уедут, а мы с тобой останемся? А? Или ты тоже уедешь?

Конец, тут же подумал Барский и вдруг ощутил, что он не в силах произнести ни звука. Этот переход от ликования по поводу соучастия в великих кремлевских решениях к мелкому страху поразил его.

– А? – требовательно повторил Брежнев.

Барский знал, что у Андропова припасен для Политбюро главный сюрприз, но видел, что шеф не спешит ему на помощь, и в отчаянии сглотнул слюну. А Суслов вдруг поправил Брежнева:

– В анекдоте, Леонид Ильич, все уезжают, кроме вас и меня.

– О нет! – вдруг живо сказал ему Брежнев. – Я с тобой не останусь. Ты меня зае...шь своим марксизмом-ленинизмом!

«Апостолы» громко расхохотались, даже вечно хмурый Громыко натянуто улыбнулся, хотя Сулову, как идеологу партии, эта шутка явно не понравилась – его желчное лицо язвенника заострилось еще больше, а узкие губки сжались. Но еще громче членов Политбюро смеялись их подобострастные помощники, референты и советники, и Барский облегченно перевел дух – этот смех означал, что кризис миновал, напряжение снято.

Он осторожно обвел глазами партийных вождей и остановил свой взгляд на Кулакове. Из всех членов Политбюро Кулаков единственный не улыбался, а оставался напряженным и бычьим, в упор, смотрел на Андропова, явно не понимая его игры. Неужели Андропов решил переметнуться на сторону открытых противников разрешения эмиграции, которых возглавлял он, Кулаков?

Но Андропов, игнорируя Кулакова, с непроницаемым лицом переждал смех брежневской гвардии.

– Ладно, – повернулся Брежнев к Андропову. – Уел ты меня, Юрий Владимирович, с этими явремя. Уел. Решение, правда, принимали все вместе, а как виноват – так Брежнев, да?

Андропов пожал плечами:

– Я, Леонид Ильич, никакой вины ни на кого не возлагаю. Решение о еврейской эмиграции мы действительно принимали все вместе, поскольку нефть дает нам валюту, а скважины

буришь нечем. И потому формула «евреи за американские бурильные станки» казалась правильной, я делю ответственность со всеми.

– Ты-то делишь. Да партия не делит. На меня все валят, – ворчливо перебил Брежнев. – И что ты теперь предлагаешь? Закрывать эмиграцию перед Олимпийскими играми? Чтобы нам не только Картер, а весь мир бойкот объявил?

– Нет, я этого не говорил, – ответил Андропов и поднял лежавший перед ним документ. – Мы разработали новую программу. Идея проста. Да, мы не можем закрыть эмиграцию или сократить ее – *пока*. Но зато мы можем отбить у Запада всякую охоту принимать наших евреев. Как? Очень просто. Если заполнять поток эмигрантов больными, стариками, алкоголиками и криминальными элементами...

– Отличная идея! – тут же воскликнул Устинов, министр обороны, и вполоборота повернулся к своему другу Громыко. – А то арабы все жалуются, что мы пополняем израильскую армию. Но если выпускать одних алкоголиков и больных, а?

– И преступников! – оживился Кириленко, еще один друг Брежнева, толстенький и гладенький, как спелый помидор. – Да! Очистить страну! Выслать всех преступников с евреями на Запад! До Олимпиады!

– Ну, до Олимпиады не получится, – усмехнулся Щелоков, министр внутренних дел. – Если мы в месяц выпускаем только по две тысячи человек, а у нас на учете жулья и бандитов два миллиона...

– А кто сказал, что мы должны подлаживаться под американские квоты? – вдруг хитро спросил Черненко. – Они впускают в год тридцать тысяч евреев, а мы выпустим сразу сто тысяч – бандитов, я имею в виду? А?

– Молодец, Костя! Правильно! – восторженно воскликнул Брежнев.

– Но бандиты же не евреи, – заметил Щелоков.

Брежнев живо повернулся к нему:

– Ты уверен? Разве у них не может быть еврейской родни в Израиле? А? Если поглыбже поискать, поглыбже? Ты понял?

– Это здоровая идея, Леонид Ильич, – веско сказал Устинов. – Таким способом мы и тюрьмы разгрузим от дармоедов, и Западу пилюлю подкинем! Особенно израильской армии! Психами, алкашами...

– Да, это хорошо... – задумчиво, словно размышляя вслух, высказался и Сулов. – Это устроит наших арабских друзей...

– Позвольте все-таки зачитать хоть один абзац, – сказал Андропов, усмехнувшись им, как расшумевшимся детям. И прочел из своей программы: – «Заполнение эмиграционного потока пенсионерами, криминальными элементами и больными вынудит американский конгресс сократить квоты на еврейскую эмиграцию и отменить поправку Джексона-Вэника, что позволит нам безболезненно закрыть эту эмиграцию через два года, сразу после Московской Олимпиады...»

И удивленно поднял глаза от текста: Политбюро – все, кроме Кулакова, – весело аплодировали.

– Да мы им такого дерьма подсыплем – они нам еще заплатят, чтобы мы эту эмиграцию закрыли! – выразил Кириленко общую мысль.

Барский смотрел на них – помолодевших от оживления и блестящих воодушевленными глазами.

– Они там думают, шо все жиды – сплошные Ландау, Моше Даяны и Рихтеры! – улыбался Черненко. – А мы им вместо Рихтеров – алкашей и старух, а?

– Рихтер не еврей, – заметил от стены Сергей Игунов, советник и главный эксперт ЦК по сионизму.

– Не важно! – отмахнулся Щелоков.

– Будем голосовать? – спросил Сулов. – Кто за это предложение?

– Да шо тут голосовать? – сказал Брежнев и приказал стенографисту: – Пиши: принято единогласно!

– Пойдите, у меня не все, – вмешался Андропов. И прочел дальше из своей программы: – «Вместе с тем, учитывая опасное влияние фактора еврейской эмиграции на остальные слои нашего общества, Политбюро предлагает Комитету госбезопасности разработать комплексную программу сдерживания потенциальных эмигрантов, в том числе систему отказов тем лицам, чьи профессии представляют интерес для наших противников...»

– Да это и ежу ясно! – устало перебил Брежнев, разом теряя свою на минуту вспыхнувшую живость.

– Уж с этим вы справитесь, – покровительственно заметил и Черненко и с благосклонностью посмотрел на Барского. – Верно?

– Так точно! – ответил Барский, ликуя в душе и изумляясь, как замечательно все обернулось.

Господи, думал он, удерживая губы от улыбки, Андропов – умница, гений, они с его руки все съели, даже не читая! И про вчерашнюю демонстрацию тут же забыли! А ведь по новой *комплексной* программе Андропова у КГБ появляются практически неограниченные права на организацию любой акции против любого советского еврея. И даже против русского, сочувствующего евреям. О, как он теперь развернется! Какие операции сможет провести его отдел! И первой, самой первой его акцией будет, конечно, дело этого Рубинчика!..

– Вот что, – вдруг сказал Федор Кулаков, про которого все как-то забыли в ходе веселья и оживления. – Я тут сижу и думаю: до каких пор мы будем этой херней заниматься? Я имею в виду: в еврейском дерьме копать – кто из них больной, а кто Ландау? Что это вообще за политика такая, если даже КГБ признает, что разрешение еврейской эмиграции было ошибкой и только показало пример всяким трясунам, чучмекам и татарам? А?

В колкой тишине, которая разом воцарилась при этих словах во всем Георгиевском зале, Кулаков рывком оттянул узел галстука у себя на шее, словно освобождаясь от сдерживающих рамок. Барский невольно обратил внимание на его бычью шею и грудь. Было очевидно, что Кулаков все-таки допер, как лихо обвел его Андропов. Решением *всех* проблем еврейской эмиграции будут теперь заниматься практики – КГБ СССР. А Кулаков, Мазуров, Долгих, Игунов и все остальные кремлевские идеологи борьбы с сионизмом должны заткнуться хотя бы до Олимпиады. И когда это дошло до Кулакова, он взорвался. Развернувшись к левому крылу стола, за которым сидели кандидаты в члены Политбюро – Демичев, Горбачев, Долгих, Шауро и другая «молодежь», он сказал:

– Я считаю: дело не в картеровской блокаде! Начхать на нее! Китайцы живут в изоляции и в ус не дуют! И еще сто лет будут жить! Но если из-за этой жидовской эмиграции начинается разложение страны, то просто невыносимо продолжать *такую* политику! Это через десять лет всю страну потерять, и никакая Олимпиада нам уже на хер не будет нужна! Тот, кто этого сегодня не видит, ведет нас к катастрофе! Мы должны немедленно взять страну под контроль и закрыть границы, пока не поздно! А не анекдоты тут рассказывать!

Барский замер от такого открытого выпада Кулакова против Брежнева. Но самым интересным был тут уже не Кулаков, а те, к кому Кулаков обратился за поддержкой. Их лица превратились в гипсовые маски, словно они не слышали ни единого слова, произнесенного их лидером. И Барский понял, что произошло на его глазах. *Кулаков выскочил, не договорившись ни с кем и заранее не разделив с ними портфели.* Гениальный Андропов спровоцировал своего конкурента на взрыв и теперь...

Барский посмотрел на своего шефа.

Ни тени торжества на лице, ни даже удовлетворенной улыбки. Андропов сидел под копьём Георгия Победоносца, пронзившим дракона, с той же отстраненной пустотой в светлых глазах, с какой он в самом начале заседания глянул на Кулакова.

«Так вот кого он сегодня подставил – не меня, а Кулакова!» – облегченно подумал Барский.

И Брежнев подтвердил его догадку. Он пожевал своей тяжелой челюстью и сказал Сулову таким тоном, словно Кулакова уже не было ни за столом, ни в составе Политбюро:

– Ну, ты это, Михаил... Веди заседание... Какой там следующий вопрос?

– Афганистан, – сказал Сулов. – Президент Дауд убит, и пора решать, кого мы там ставим вместо него: Кармаля или Тараки. – И повернулся к Барскому: – Вы свободны, полковник.

6

Маленький «Як-28» рухнул на одно крыло, и внизу, посреди белой и голой, как омлет из белков, ледяной пустыни, открылся крохотный городок, заиндевелый от пятидесятиградусного мороза, – Мирный, алмазная столица Якутии. Полтора десятка коротких улиц с домами на бетонных сваях. Сугробы и в стороне – три гигантских, как после ядерного взрыва, котлована. Со дна и из стен этих котлованов экскаваторы выгрызают кимберлит – породу, богатую алмазами и иногда окаменелыми остатками доисторических мамонтов. Сорокатонные самосвалы цепочкой, как муравьи, тащат этот кимберлит наверх, на дробильные фабрики – три огромных и глухих алюминиевых айсберга, заиндевелых, обнесенных пунктиром колючей проволоки.

А дальше, за шершавым от торосов панцирем сибирской тундры, до самого горизонта тянется запорошенная снегом тайга, рассеченная с юга на север узенькой ленточкой временной таежной дороги – «зимником». Если когда-нибудь космонавты долетят до Венеры или еще какой-нибудь остывшей планеты, их встретит точно такой неземной пейзаж. Но именно эти три котлована Мирного и еще пять чуть северней, в Надежном, Айхале и Удачной, дают России восемь процентов годового бюджета – алмазами! А потому журналисты бывают на этом полюсе холода чаще, чем в Большом театре.

Два капитана КГБ, высокий тридцатилетний блондин Фаскин и его погодок самбист Зарцев, вывалились из самолета вслед за Рубинчиком и тут же задохнулись промороженным воздухом, который иглами проколол им легкие и заледенил влагу в носгах. Следующей, через миг, мыслью была паника от ощущения своей полной – несмотря на пальто, свитера и теплое нижнее белье – наготы на этом пронизывающем, ледяном ветру. Черт возьми, как этот сукин сын Рубинчик сможет трахнуть тут очередную девку, когда даже в мае от мороза и ветра тут не гнутся колени, а пока добежишь до низенького домика аэровокзала, гениталии превращаются в ледяные кристаллы!

Впрочем, они знали его возможности. Они потратили уже месяц на этого Рубинчика, а точнее – на девочек, которых он поимел в Павлодаре, Усть-Илиме, Падуне, Костомукше, Братске, Тарко-Сале и Кокчетаве. Именно из этих сибирских и заполярных городков и поселков, от администраторш местных гостиниц, была получена информация о порочном поведении московского журналиста Иосифа Рубина, оставлявшего девушек в своем номере на всю ночь, до утра. Конечно, ни для кого не секрет, что сотрудничество с КГБ является главным условием работы гостиничных администраторов, однако и все командированные знают, как избежать их доносов – с помощью трехрублевой взятки, плитки шоколада или польской косметики. Рубинчик наверняка пользовался тем же методом, но он ошибся, полностью доверяя ему. Потому что иные администраторши, даже приняв подношение, все равно строчат свои отчеты в КГБ. И тысячи рапортов о пьянстве и разврате командированных, разъезжающих по гигантской территории СССР, ежедневно стекаются из провинций в Москву, в Особый архив Пятого (идеологического) управления КГБ, где сортируются по ведомствам, профессиям и персоналиям и хранятся, как в информационном банке. А когда у властей возникает нужда в компромате на того или иного человека, КГБ извлекает из архива эту бесценную информацию. Потому что святых, как известно, не бывает и на любого архисвятого всегда найдется какая-нибудь *бытовуха* – пьянка или адюльтер...

Три месяца назад Фаскин, получив из Особого архива очередной ящик материала на людей с еврейскими или «околеевскими» фамилиями, впервые выловил в нем два аналогичных рапорта из Павлодара и Падун об «аморальном поведении московского журналиста Иосифа Рубина, корреспондента „Рабочей газеты“, который, в нарушение правил проживания в гостинице, оставил у себя в номере девушку после 22.00». Стандартная первичная разработка показала, что Иосиф Рубин – это литературный псевдоним некоего Иосифа Рубинчика, и как

только шеф Фаскина полковник Барский услышал эту характерную еврейскую фамилию, он, что называется, «сделал стойку»: тут же увидел колоссальную перспективность этой информации и, как в операциях с Кузнецовым и Раппопортом, взял это дело в свои руки. В Павлодарское и Падунское управления КГБ срочно улетели телефонограммы с требованием установить все подробности пребывания там Иосифа Рубина-Рубинчика и выяснить личность переспавших с ним девиц. Одновременно в отделе кадров «Рабочей газеты» было установлено время поступления Рубинчика в штат редакции: 1968 год, и Барский отправил Фаскина и Зарцева в служебную библиотеку КГБ, где они извлекли из архива все подшивки «Рабочей газеты» за последние десять лет и по публикациям Иосифа Рубина установили географию его поездок по стране. На основании этого исследования всем территориальным управлениям КГБ, где побывал Рубин-Рубинчик, были посланы оперативки – приказы опросить работников гостиниц, в которых он останавливался, на предмет нарушения им правил проживания. Кроме того, были приглашены для беседы и опрошены три сотрудника «Рабочей газеты» – постоянные информаторы КГБ в этой редакции.

В результате этой подготовительной работы выяснилась примечательная картина. В Москве, в редакции, Иосиф Рубин имел стойкую репутацию прекрасного семьянина. В отличие от многих мужчин, не обременяющих себя хозяйственными заботами, он всегда отправлялся из редакции домой, нагруженный продуктами, которые он добывал либо в соседнем гастрономе, либо в редакционном буфете. И вообще, вся редакция знает, как он любит свою семью – стоит его трехлетнему сыну или семилетней дочке чуть простыть, как он срывается с работы в аптеку, или в районную поликлинику к врачам, или в гастроном за соками, медом, лимонами. Ни о каких адюльтерах или романах на стороне даже речи быть не может!

Но в командировках этот же Рубинчик вел себя совершенно иначе. Работники и работницы почти всех гостиниц, где останавливался последние годы Рубинчик, под нажимом начальников местных управлений КГБ живо вспомнили, что – да, действительно, был у них московский журналист еврейской наружности и как раз в ночь перед его отъездом у него ночевала девица. А запомнилось это им потому, что после его отъезда в номере осталась плохо застиранная простыня с пятнами крови. Ясное дело, от чего эти пятнышки...

Все дальнейшее казалось Барскому, Фаскину и Зарцеву делом элементарным: отыскать в этих городках и поселках обесчещенных Рубинчиком девиц и раздуть из этого дела громкий публичный процесс о развратном еврее-журналисте, занимающемся дефлорацией русских девочек. Уж что-что, а такую клубничку только подай прессе – журналисты покатыт ее, как снежный ком, и сами вылепят образ такого жидовского монстра и Дракулы, что мир содрогнется! И сработает это лучше любой антисионистской кампании!

Но, к изумлению Барского, Фаскина и Зарцева, почти все жертвы Рубинчика из тех, кого удалось установить, оказались уже замужними. Причем браки их были зарегистрированы буквально через одну-две недели после того, как они побывали в постели Рубинчика, а сразу после свадьбы они меняли место жительства – вербовались с мужьями на северные или среднеазиатские стройки. Конечно, человек не иголка в стогу сена, и при паспортном режиме в стране Центральное адресное бюро в течение трех дней выдаст КГБ информацию о местопребывании любого гражданина СССР. Но Барский остановил своих следопытов. Вступать в *прямой* контакт с жертвами Рубинчика было преждевременно, потому что кто-нибудь из них мог и по сию пору быть связан с Рубинчиком любовной перепиской или еще как-то. Да и без такой связи любая из этих женщин могла простым телефонным звонком предупредить его, спугнуть и сорвать тем самым всю операцию. В то время как на этом подготовительном этапе Барскому нужно было лишь установить точные адреса всех жертв распутного журналиста и получить не столько их устные показания против него – это он всегда успеет, сколько конкретные *вещественные* доказательства его растлевающей деятельности.

– Нужно только взять его с поличным! – сказал Барский Фаскину и Зарцеву. – Езжайте с ним в командировку, следите там за каждым его шагом и накройте его в тот момент, когда он уляжется на очередную девицу. Но чтобы все было красиво и чисто: с понятыми, с фотографиями, с милицией. Ясно?

Им понравилась эта идея. Не скучное копание в регистрационных книгах гостиниц и ЗАГСов, а живое дело! И как удачно вышло, что очередная командировка Рубинчика – сюда, в Якутию, в эту голую тундру, где все и каждый как на ладони, как эти заиндевелые алюминиевые щиты-плакаты, торчащие по обе стороны тундровой дороги по случаю недавней апрельской поездки Брежнева по Сибири:

**СЛАВА ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ БРЕЖНЕВУ – ВОЖДЮ ВСЕХ
НАРОДОВ!**

КПСС – УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!

**ЯКУТИЯ КЛЯНЕТСЯ ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ БРЕЖНЕВУ СТАТЬ
РЕСПУБЛИКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА!**

ЯКУТСКИЕ АЛМАЗЫ – РОДНОМУ НАРОДУ!

И пока «козлик» директора комбината «Алмаздобыча», подпрыгивая на торосах и ухабах тундровой дороги, вез столичного корреспондента Иосифа Рубина из аэропорта в единственную в городе гостиницу «Полярник», персональная «Нива» майора Хулзанова, начальника мирнинского городского управления госбезопасности, доставила Фаскина и Зарцева прямо на городской вещевой склад. Там им немедленно выдали теплые меховые костюмы, овчинные полушубки, валенки и меховые рукавицы. Затем, после короткой беседы с хитроумным Хулзановым, якутом по национальности, вся операция была оговорена до деталей и их отвезли в ту же двухэтажную гостиницу, где остановился Рубинчик. Несмотря на полное отсутствие свободных мест в гостинице (даже крохотный вестибюль был забит прибывшими со всей страны «вербованными»), капитан Фаскин получил номер через стенку от номера Рубинчика, а Зарцев – номер напротив. Таким образом, ловушка была готова, и оставалось самое простое – дожидаться, когда Рубинчик приведет к себе в номер очередную жертву.

Да, оказалось, что следить за ним неотлучно, как приказал Барский, нужды никакой нет: в городе одна гостиница, одна столовая-ресторан, один кинотеатр и даже такси – тоже только одно, да и то с водителем – стукачом КГБ! Наоборот, их задачей стало как можно реже сталкиваться с этим Рубинчиком нос к носу, ведь его тоже повезли за теплой одеждой на городской склад, а потом – в ту же столовую самообслуживания, где в меню было не одно-два, как во всех провинциальных столовых, блюда, а борщ, суп с фасолью, уха из налима, макароны по-флотски, рагу из оленины, рыба жареная и даже пельмени! И еще – брусника под сахаром, яблочный компот! Нет, не зря Мирный дает стране восемь процентов годового бюджета!

Отведав досыта ухи, сибирских пельменей и брусники (под коньяк и за счет все того же якута – майора Хулзанова) и разомлев от сибирской манеры топить до жары, как в бане, Фаскин и Зарцев с любопытством огляделись: кого бы они тут трахнули, будучи на месте Рубинчика?

Столовая, которая по вечерам превращалась в ресторан «Северное сияние», была в обеденное время заполнена шоферами, инженерами, крановщицами, горняками и охранниками алмазодробильных фабрик. Рослые, крупные сибиряки и сибирячки, да еще увеличенные в объеме толстыми свитерами, меховыми и ватными костюмами, унтами и овчинными полушубками. А также мощным таежным аппетитом: каждый и каждая, входя сюда с клубами морозного пара, брали в окошке раздачи по два первых и два вторых блюда плюс булки, кисель, компот и брусника! И все это съедалось – даже женщинами – подчистую среди громкоголосых споров-разговоров и густого табачного дыма.

Интересно, думали Фаскин и Зарцев, как этот плюгавый еврейчик сможет соблазнить таких таежных буйволиц? А вот и он сам, легок на помине! Уже в унтах, меховом комбине-

зоне и овчинном полушубке, только шапка-ушанка своя, московская. В сопровождении, как тут же сообщил им Хулзанов, главной архитекторши города, двух молодых геофизичек и юной, не старше двадцати, милиционерши-охранницы алмазной фабрики, заправляющей в Мирном всей клубной самодеятельностью. И хотя он ниже их всех ростом, но держится со столичным апломбом, светится самоуверенностью и не отстает в аппетите. Ест неспешно, внимательно и зорко слушает собеседников, изредка записывает что-то в маленький блокнотик и комментирует то, что слышит, какой-нибудь короткой репликой, после которой вся компания весело хохочет. А он с усмешкой глядит на них своими лукавыми еврейскими глазками, полными какого-то темного огня и энергии.

Фаскин и Зарцев обменялись взглядами: они тут же сообразили, кого из этих дам Рубинчик притащит сегодня в свой гостиничный номер. Архитекторша отпадает, ей уже за тридцать, это не его профиль. Геофизички тоже – они хоть и моложе архитекторши, но на девственниц не тянут. А вот милиционерша, кажется, близка к его типу русских див, хотя ростом под метр восемьдесят, не меньше. И следовательно, ночью надо быть осторожней при взятии их с поличным, эта девица может быть при оружии...

Однако Рубинчик обманул их расчеты. Ни в этот день, ни на следующий он не привел в гостиницу ни двухметроворостую милиционершу, ни геофизичек, ни еще кого-нибудь из таежных «буйволиц». Судя по сведениям майора Хулзанова, он первый день провел в кимберлитовом карьере, на дробильных фабриках и на обзорной экскурсии по Мирному, а второй, третий и четвертый – в городском архитектурном управлении и в строительном тресте, где интересовался, кто и по какой причине уже пятый год тормозит строительство огорода под куполом – оригинальную идею местных архитекторов увязать под одной крышей целый комплекс жилых корпусов, детского сада, больницы, магазинов и оранжереи. А по вечерам этот Рубинчик пропадал то в клубе, то в гостях у местных инженеров и геофизиков и являлся в гостиницу лишь к полуночи, да и то, к огорчению своих ведущих, совершенно один.

Зарцев и Фаскин заскучали. Им надоело ждать, когда же этот «любожид», как они его называли, выберет себе девку для постели и даст им тем самым возможность выполнить свою миссию. Им осточертели эти морозы, при которых невозможно вдохнуть полной грудью – замороженный воздух прокалывает легкие. Им обрыдло общество майора Хулзанова, пьяный ночной храп командированных на обоих этажах гостиницы «Полярник», а в столовой – сибирские пельмени и брусника под сахаром. Единственное, что еще поддерживало их рабочий тонус, это хулзановский коньяк и туманные обещания разбитной администраторши гостиницы заглянуть к ним «на чай». И на пятую ночь эта пышная тридцатилетняя администраторша с пудовой грудью и двумя золотыми зубами пришла-таки к ним в номер, вызвав их хмельной энтузиазм и громкий тост Хулзанова: «За прекрасных дам!» Но она тут же охладила их пыл коротким сообщением:

– А ваш-то корреспондент уходит из гостиницы!

– Как это уходит? Куда? – разом протрезвели они, поскольку всего двадцать минут назад своими глазами видели, как он прикатил в гостиницу на служебном «газике» и вошел в свой номер.

– А кто ж его знает, куда? Такси с моего телефона вызвал.

Бросив в номере такую теплую и явно расположенную к выпивке администраторшу, они схватили полушубки и шапки, ссыпались по лестнице на первый этаж и, перепрыгивая через спящих на полу вестибюля командированных, выскочили на улицу как раз в тот момент, когда такси с Рубинчиком отчалило в чернильную черноту таежной ночи. Но благо, хулзановский вездеход с включенным двигателем и спящим в кабине молодым солдатом-шофером стоял тут же, ждал хозяина. Втроем, включая майора Хулзанова, они нырнули в кабину и приказали:

– За такси! Гони!

Значит, Рубинчик таки надыбал какую-то целку и теперь двинулся к ней домой – не то на квартиру, не то в общежитие! Оставалось лишь установить, к кому и куда именно он устремился. А уж потом, зная адрес, можно не спеша вызвать местную милицию, понятых и сгонять обратно в гостиницу за фотоаппаратами. Времени на это будет – аж до утра...

Но, прокатив до конца темной заснеженной улицы, такси не свернуло ни к одному из домов и даже ни в сторону аэропорта, а устремилось совсем в ином направлении – к тайге.

– Куда он?

– К зимнику, – сообразил первым шофер.

Действительно, такси катило к пересечению с зимней трассой, по которой тяжелые грузовики день и ночь тащили с юга, от Лены-реки, все, что нужно для жизни в тундре: горючее, продукты, строительные материалы, водку, технику, медикаменты. Летом, когда тундра оттает и превратится в зыбкое болото, тут нет никаких дорог, а потому тысячи тонн самого разного груза здесь спешат перевезти зимой по этим временным ледяным маршрутам. На кой черт ему зимник?

– А по нему куда угодно можно укатить, – сказал Хулзанов. – Хоть на юг, в Ленск, хоть на север, в Айхал!

– На такси? Зачем?

– Наверно, от вас смывается. Узнал, что вы за ним следите...

Но, достигнув зимника, такси не свернуло ни на юг, ни на север, а встало на обочине.

– Стоп! Гаси фары! – приказал Фаскин шоферу.

Черная промороженная ночь с низкой красной луной окружила их. Впереди, на перекрестке двух зимних дорог, стояло такси, тараня тьму перед собой конусами света фар и отсвечивая сзади желтыми габаритными огнями. Никто не выходил из машины, и гэбэшники терялись в догадках – что же этот Рубинчик собирается делать? Куда поедет?

Но вот на зимнике, с юга, показались огни спешащего на север бензовоза, и фигура Рубинчика выскочила из такси, встала на перекрестке с поднятой рукой. Бензовоз тут же сбавил ход, тормознул возле него. Рубинчик вскочил на высокую подножку и нырнул в кабину к водителю. Гэбэшники ждали, такси – тоже. Секунд через десять бензовоз фыркнул двигателем, отчалил от перекрестка и покатил на север, во тьму полярной ночи, а такси развернулось и направилось назад, в Мирный.

– С-сука! – выругались одновременно московские капитаны, а майор Хулзанов, выйдя из машины, остановил такси. Капитаны выскочили за ним.

– В чем дело? Куда он поехал? – спросил Хулзанов у шофера такси.

– Хочет ночь провести на трассе и написать статью о шоферах зимника, – объяснил тот. Фаскин и Зарцев переглянулись.

– Но ведь у него на завтра билет в Москву! – вспомнил Зарцев.

– За ним! – решительно приказал Фаскин майору Хулзанову, спешно возвращаясь в кабину «Нивы».

– Зачем? Кого он тут найдет, на зимнике? – изумился Хулзанов.

– Он найдет! – уверенно сказал Зарцев и объяснил: – Это его последняя ночь тут! А он всегда трахает девочек именно в последнюю ночь командировки. И улетает!

– Тогда пошел! Вперед! – приказал Хулзанов своему шоферу.

Наследственный якут-охотник, он тоже возбудился этой охотой за «любожидом».

7

– Анна Евгеньевна?

У Анны пресеклось дыхание – Барский! Всю минувшую неделю она жила тайной мечтой, что он исчезнет, как дурной сон. Что он отстанет от нее, сгинет, попадет под машину, заболеет сифилисом, улетит за границу. Но нет, вот он, на том конце провода. Почему? Ведь тысячи людей умирают каждый день – от инфаркта, от рака, в автомобильных катастрофах. Так почему не гэбэшники?

– Алло! – нетерпеливо сказал его баритон.

– Да...

– Анна Евгеньевна?

– Я! – Теперь она взяла себя в руки и, держа телефонную трубку левой рукой, правой отодвинула от себя морду льнущего к ней эрдельтерьера и зашарила по кухонному столу в поисках пачки сигарет и зажигалки.

– Это Олег Дмитриевич Барский.

– Я слышу.

– Здравствуйте...

Пауза. Ждет, мерзавец, чтобы с ним поздоровались. Чтобы она пожелала ему здравствовать! И ведь никуда не денешься, придется...

– Здравствуйте, – сказала она сухо, не назвав его по имени-отчеству. И закурила.

Он, конечно, услышал чирканье зажигалки, его голос повеселел:

– Много курите, Анна Евгеньевна...

Снова пауза. Хочет навязать неофициальный стиль отношений, словно уже завербовал ее. Но она промолчит, конечно.

– Алло!

– Да, – сказала Анна.

– Я говорю: много курите...

– Я слышала.

– Гм... Извините, что беспокою в воскресенье. Помните, мы договорились созвониться через недельку? Я ждал вашего звонка всю неделю и решил, что не дожусь, право. Гора не идет к Магомету!

Пауза. Надеется, что она засмеется. Фиг тебе!

– Алло! – сказал он снова.

– Я слушаю.

– Бронированная женщина! – уважительно сказал баритон. – Но все-таки надо бы нам встретиться, Анна Евгеньевна. Как у вас завтрашний день смотрится? Мы могли бы пообедать...

– Нет, – прервала Анна. – До конца недели я совершенно занята. Я в процессе, как вы, наверно, знаете.

– Хорошо, – легко согласился он, хотя оба они понимали, что она просто оттягивает эту встречу. – А как насчет вторника через неделю? Скажем, часика в три – мы могли бы пообедать?

Анна вздохнула – никуда не денешься, придется встречаться с ним.

– Где? – спросила она и подумала: интересно, где КГБ угощает своих агентов в *первый* раз?

– Ну... скажем, ресторан «Армения». Знаете? Там форель замечательная. Вы как к форели относитесь?

– С интересом, – усмехнулась она.

– Как? Как? – Барский расхохотался. – Анна Евгеньевна, вы – прелесть! Значит, во вторник, в три, в «Армении». Кстати, я знаю, что вы никогда не опаздываете. Так что – до вторника! Желаю успехов!

– Пока... – Анна медленно положила трубку. Что-то было в его голосе... Что-то такое, чему нет названия, но что каждая опытная женщина слышит сразу, как профессиональный скрипач слышит плохо натянутую струну. Он *заискивал*. И значит, она ему очень нужна. Ну, не она сама, конечно, а Аркадий. И даже не сам Аркадий, а та новая система космической навигации ракет, которую выдумал этот гениальный еврей. «Понимаешь, Аня, – сказал он, когда она пристала к нему с вопросом, почему он так рвется в свою Черноголовку, если пробыл в Москве меньше суток, а до этого не был тут две недели. – На последних учениях наши ракеты, запущенные с подлодок в Белом море, долетели до Камчатки и поразили цель с точностью до километра. Для такого расстояния это неплохо, особенно если ракета несет ядерную боеголовку. Километром ближе или дальше – при ядерном ударе это значения не имеет, и мы еще три года назад получили за эту систему Государственную премию... – Он походил по комнате, держа руки в карманах своих любимых и потому заношенных вельветовых брюк. Потом вскинул свою курчавую голову и улыбнулся той улыбкой, которая подкупила ее еще пять лет назад, в первый же день знакомства с ним. – У меня есть совершенно новая идея. Если ее реализовать, наши ракеты на любом расстоянии – даже облетев вокруг света – попадут в цель, как в яблочко. Представляешь? Хочешь – прямо в окно кабинета Картера в Белом доме, а хочешь – в звезду на Спасской башне. Правда, это еще очень сырая идея, и я сам не совсем понимаю, как ее осуществить технически. Но сегодня ночью у меня появились кой-какие соображения, и мне нужно срочно проверить их в лаборатории...»

И он уехал. Конечно, она могла сказать ему о разговоре с Барским в кабинете хорька. Черт возьми, она могла бы рассказать ему даже о Раппопорте (ну, не все, разумеется!). Но пусть бы Аркадий и трижды простил ее – что это меняло в ее жизни? *«Сегодня ночью у меня появились кой-какие соображения...»* И в этом был корень всех проблем. Так что же делать?

Сигарета, догорев до фильтра, обожгла ей пальцы. Вздвогнув, Анна сделала последнюю затяжку и решительно загасила окурок в пепельнице.

Рев лодочных моторов и катеров, гоняющих по Клязьминскому водохранилищу, легко преодолевал прибрежную лесополосу и достигал шоссе. Неожиданная жара последних майских дней выгнала москвичей за город, и теперь весь лесистый берег водохранилища был оккупирован палатками, шалашами и дощато-картонными хибарками. Десятки тысяч людей съезжались сюда по субботам и воскресеньям и, несмотря на запрещающие знаки и предупреждающие плакаты, жгли костры, устраивали пикники, мусорили, пьянствовали, глушили рыбу, палили из охотничьих ружей по бутылкам и консервным банкам, плавали, купали собак и гоняли по водохранилищу на моторных лодках, самодельных катерах и катамаранах.

Свернув с шоссе и медленно проехав по извилистой и колдобистой лесной дороге, Анна притормозила у очередной развилки и засомневалась, туда ли она едет. Но тут же увидела встречную иномарку – не то «форд», не то «линкольн» – с трудом выбирающуюся из леса по ухабам и рытвинам глиняной колеи. И успокоилась: она ехала правильно. Правда, пришлось подать назад, уступить дорогу этому заморскому крейсеру и оставить без внимания нагло-оценивающий взгляд лысого кавказца, который величественно, как шах, проехал мимо нее в этом авто. Очередной спекулянт, купивший за бешеную взятку иномарку в УПДК – Управлении по обслуживанию дипломатического корпуса. Живущие в Москве западные дипломаты и журналисты не имеют права продавать свои машины на автомобильном рынке, даже если они отбывают домой в свои америки и бразилии или их машина попала в аварию, вышла из строя по старости и т. п. Нет, они обязаны – буквально за гроши – сдать эту машину в УПДК, а там эти «форды», «вольвы» и «фольксвагены» уже давно дожидается очередь знаменитых совет-

ских актеров, режиссеров, академиков и ученых с секретными Ленинскими премиями, полученными за повышение военной мощи СССР. Только им, элите из элит, за верную службу властям держава позволяет купить какой-нибудь разбитый «датсун» или «мерседес», починить его и шеголять по Москве в иностранной машине.

Правда, в последние годы рука начальника УПДК все больше отдавала такие машины не ученым-лауреатам, а лицам кавказского происхождения, снабжающим черные рынки Москвы цветами, яблоками и помидорами. И каждые пару дней «техничка» с лебедкой забирала со двора УПДК какую-нибудь вдрызг разбитую или проржавевшую до дыр иномарку, которую на Западе отправили бы под пресс, не думая ни секунды. А в Москве эту машину привозили сюда, в так называемую «Яму» – подпольную ремонтную мастерскую Ивана Лопахина, у которого и работал отец Анны.

Вот и сейчас, стоя на краю своей «Ямы» – пологого спуска в небольшой котлован, шумный и толстый Лопахин, бывший актер знаменитого Театра на Таганке, покрикивая на двух своих работяг, выгружал из кузова грузовика некое месиво искореженного металла, в котором только при сильном воображении можно было угадать не то «БМВ», не то «тойоту». Но, увидев желтый «жигуленок» Анны, Лопахин разом забыл о разгрузке, широким шагом подошел к ее машине и, вытирая пот с крупного, круглого и конопатого лица, заговорил громко, как брехтовский актер на сцене:

– Господи, Анечка! Сколько лет! Неужели вспомнили про нас, грешных? Боже мой, что за женщина! Королева! Мечта Андалузии!

– Лопахин, не физди! – невольно улыбнулась Анна. – Отец здесь?

– Конечно, принцесса! Ваш отец здесь, на свежем лесном воздухе! Что может быть лучше для пенсионера и советского труженика? Позвать? – И Лопахин кивнул на дно своей «Ямы», где стояли несколько разобранных иномарок. Там же под шиферным навесом маленький старик в грязных штанах и выцветшей ковбойке стучал войлочным молоточком по смятому в гармошку крылу машины. Это и был отец Анны – бывший инженер-майор бронетанковых войск Второго Украинского фронта, бывший начальник технической службы Московского управления КГБ, а после смерти жены – алкоголик, пропивший даже свои военные ордена и медали.

Анну всегда восхищала и ужасала его биография. В 1934 году Сталин отправил в США, на стажировку на заводы Форда, группу молодых русских технических гениев, создателей первого советского автомобильного завода. В этой группе был двадцатичетырехлетний Евгений Крылов, будущий отец Анны. В 1935 году, вернувшись из США, отец сказал своему соседу, что лучшие в мире автомобильные двигатели делает, конечно, Форд. Назавтра его арестовали «за антисоветскую пропаганду» и после приговора Особого совещания – секретного трибунала ЧК – отправили в Сибирь. Правда, в те годы арестованных еще не возили в вагонах для скота, поэтому отец и еще десяток таких же «врагов народа» ехали в Сибирь в спальном вагоне и под надзором одного-единственного конвоира. За Читой, на очередном таежном полустанке, этот конвоир достал из полевой сумки запечатанный конверт с надписью «Крылов Е. К., 1837 км», вручил отцу, показал на какую-то вышку в тайге и сказал: «Иди до той вышки, там зона. Отдашь пакет и тебя устроят». Отец дошел до вышки, вручил пакет дежурному по зоне, и тот, вскрыв пакет, прочел отцу его приговор: 10 лет лагерей.

Но на самом деле никаких лагерей в тайге в то время еще не было, знаменитый сталинский ГУЛАГ только создавался – руками самих «врагов народа». Ровно через неделю после прибытия отца в зону сюда пришли составы с двумя тысячами арестантов и вагоном топоров, пил и еще какого-то инструмента. Начальник зоны вызвал Крылова, постелил перед ним карту окрестной тайги и сказал: «Возьмешь шестьсот эков, сотню топоров и взвод охраны. И пойдешь сюда. – Он ткнул пальцем в какой-то урман на карте. – Неделю на обустройство и строительство пилорамы, а через неделю – чтобы начал производить доски, дверные косяки и оконные рамы. Не выполнишь – расстреляю. Вопросы есть?» «Есть, – сказал отец. – Какого

размера должны быть оконные рамы?» Начальник посмотрел на него долго, в упор. Потом сказал: «Барачного размера, еж твою мать! Лагеря будем строить!»

Четыре года отец кормил своей кровью гнус в тайге и производил доски и дверные рамы, а в декабре 1939-го его и еще сто тысяч эков пешком пригнали со всей окрестной тайги в Читу, выстроили в каре на привокзальной площади и какой-то московский оратор закричал им с трибуны:

– Дорогие товарищи! Произошла трагическая ошибка! Вас осудили безвинно! Родина перед вами в неоплатном долгу! Но Родина в смертельной опасности! Финляндия напала на нашу страну! Финские войска рвутся к Ленинграду! Все на защиту Отечества! По вагонам!!!

И те же поезда, которые привезли «врагов народа» в Сибирь, увезли их на запад спасать Красную Армию от разгрома. В Колпино, под Ленинградом, им выдали винтовки образца 1913 года и по десять патронов на человека. И бросили в первый бой, приказав остальное оружие добыть себе в бою. Добыть или погибнуть – вот и весь выбор.

А когда «победоносная» Красная Армия, пройдя по телам погибших эков, прорвала линию Маннергейма и Молотов подписал с финнами мирный договор, всех оставшихся в живых бывших «врагов народа» разоружили, погрузили в теплушки для скота и повезли... обратно в Сибирь. Спасителям Отечества даже время пребывания на фронте не засчитали в срок заключения. Строительство ГУЛАГа продолжалось – империи Сталина нужны были рабы, миллионы рабов, даром добывающих золото Камчатки, уголь Воркуты, медь Казахстана и никель Норильска...

Но еще через два года, в октябре 1941-го, – снова читинский вокзал, снова тысячи эков на привокзальной площади, снова кумачовая трибуна и те же слова:

– Дорогие товарищи! Произошла трагическая ошибка! Родина перед вами в неоплатном долгу! Но Родина в смертельной опасности! Гитлеровские войска вышли к Волге, к Москве, к Сталинграду! Все на защиту Отечества! По вагонам!!!

Отец начал войну под Сталинградом, шофером, а закончил на Эльбе командиром ремонтного батальона танковой дивизии маршала Тимошенко. И на этом пути, в самом его начале, под Сталинградом получил первое ранение, то есть «кровью смыл вину перед Родиной» – судимость за «антисоветскую пропаганду». Эта кровь открыла ему путь к командирской должности и заодно – в госпитале – растопила сердце семнадцатилетней медсестры Оленьки, которая стала его женой и Аниной матерью. В 1946-м, когда отец приехал из Германии на собственном «БМВ», с орденской колодкой на груди и майорскими звездочками на золотых погонах, он шумно в ресторане «Прага» справил свадьбу со своей Оленькой, а через день среди ночи за ним явились сотрудники КГБ и снова увезли его на Лубянку. Оказывается, судимость была снята «условно, только на время войны». Анна родилась через девять месяцев после этого ареста, но отца она увидела только после смерти «вождя всех народов», в 1954-м, когда ей было восемь лет.

Но самое удивительное в этой биографии было то, что после всех этих примечательных событий отец остался ярым сталинистом. Вернувшись из Сибири, он добился полной реабилитации, возвращения всех орденов, воинского звания, членства в партии и... устроился на работу в гараж КГБ, где очень быстро поднялся по служебной лестнице от должности рядового механика до кресла начальника технической службы Московского управления КГБ. И все оставшееся Анино детство – сытое, роскошное детство дочери бывшего эка, дорвавшегося до кремлевских пайков, дач и распределителей, – прошло под портретом генералиссимуса, который висел в их квартире на самом видном месте.

Только в 1967-м, когда Анна привела в их дом своего первого мужа, художника Илью Канторовича, она узнала, что, кроме любви к Сталину, отец вывез из лагерей совершенно лютую ненависть к евреям. Увидев Канторовича, он не только вышвырнул ее, беременную, за дверь, но и сделал все что было в его силах, чтобы разрушить этот брак. Хотя при своих гб-

эшных связях отец мог одним телефонным звонком устроить им квартиру, они – Анна, Илья и их только что родившийся сын – ютились по каким-то углам и подвалам; хотя отец мог легко изъять фамилию авангардиста Канторовича из гэбэшного списка «неблагонадежных» художников, Канторович нигде, даже в детских издательствах, не мог получить работу; хотя отец помимо зарплаты получал гэбэшный паек и имел доступ в закрытый продовольственный распределитель на улице Хмельницкого, им от этих продуктов не перепало и крохи и они месяцами жили буквально впроголодь; и хотя у отца была дача под Москвой и возможность достать путевку в любой санаторий или дом отдыха от Карелии до Самарканда, они даже летом не могли уехать с сыном-астматиком из душной Москвы. А если отец узнавал, что мать втайне от него приносила внуку одежду или фрукты, он устраивал ей жуткие скандалы с грязной эковской руганью и подчас даже побоями. А когда в 1971-м американский миллиардер Арманд Хаммер вдруг скупил чуть ли не все картины московского андерграунда, включая девятнадцать работ Ильи Канторовича, и они решили подать документы на эмиграцию, отец отказался подписать Анне разрешение на выезд из страны.

– Отец, у Антоши астма! Ему нужно жить в Аризоне! Это его единственный шанс выжить!

– Пусть едет, я его не держу.

– А я?

– А ты останешься здесь, в своей стране.

– Отец, ты с ума сошел! Это мой сын! И муж! Ты хочешь, чтобы они уехали без меня?

– Из-за твоего жидовского мужа мне уже не дали генерала! Пусть едет!

– Я тебя прокляну, ей-богу! Ноги моей не будет в этом доме!

Но отец остался непоколебим. Только потому, что из-за ее отъезда он мог потерять свою сытую гэбэшную должность, он не подписал ей родительское разрешение на выезд – прекрасно зная, что без этого разрешения ее не выпустят из СССР.

Судьба странным образом наказала его за это: он запил. То ли от нестерпимости сознания, что, вопреки всем его усилиям, его единственная дочь, которую он баловал все детство, и во второй раз вышла замуж за еврея, то ли от полного одиночества, но в 1972 году, сразу после смерти Аниной матери, отец запил – ожесточенно, глухо и с какой-то стержневой озлобленностью, как может запить только бывший зэк. И за три месяца потерял и пропил буквально все: работу, машину, партийный билет, мебель и даже портрет Сталина вместе со всеми своими фронтовыми орденами. Кроме, похоже, своего таланта, потому что именно таких спившихся гениев, которые могли собрать Т-34 из двух швейных машин, и приютил в своей «Яме» Иван Лопахин для непосильного заурядным механикам возрождения разбитых иномарок. Каждый день рано утром он сам, лично, на своем серо-мышинном «фиате» приезжал за ее отцом на Песчаную улицу, привозил с собой бутылку водки, наливал ему стакан и говорил:

– Все, остальное получишь в обед.

Отец покорно садился в машину Лопахина и ехал с ним в «Яму» выпрямлять, лудить, запаивать корпуса и крылья иномарок, смятые в гармошку и покалеченные до такой степени, что их не взялся бы вернуть к жизни даже сам Форд или японский автомобильный гений мистер Хонда. В обед отец допивал обещанную бутылку и до заката солнца снова стучал деревянными молоточками по искореженному металлу или переставлял хондовскую коробку передач на американский «форд». Иными словами, те сенсационные «браки» «хонды» с «фордом» и «тойоты» с «GM», которые в восьмидесятых годах будут стоить этим компаниям миллиарды долларов, совершались в 1978 году в подмосковной «Яме» тремя гениальными русскими алкашами за бутылку водки «Московская». После рабочего дня щедрый Лопахин, который зарабатывал на этом тысячи, наливал своим работягам еще по стакану и сам отвозил их домой, спать. Что мог сделать Барский этим алкашам, когда грозил Анне шантажом «по линии отца»? Отнять пенсию в связи с «нетрудовыми доходами» – тремя стаканами водки в день?

Медленно скатившись на своем «жигуленке» по склону котлована, Анна остановила машину в нескольких шагах от отца. Со дня похорон матери они виделись лишь раз в год, на кладбище, в годовщину ее смерти. Но даже там, у могилы матери, когда Анна попробовала заговорить с отцом, он, дыша водочным перегаром, отрезал враждебно: «Оставь меня в покое!» – и ушел. А последние два года он пропускал и эту дату...

Выключив мотор, Анна вышла из машины и шагнула к отцу.

Конечно, он увидел ее, но продолжал молча и еще старательней стучать обернутым в войлок молотком по куску железа, похожему на заднее крыло «мерседеса». Анна молча смотрела на отца. Небритый, непричесанный, седой. Заросшая шея, выцветшая ковбойка, грязные штаны с пузырями на коленях, стоптанные туфли. И запах водочного перегара. И глаза, избегающие ее взгляда.

Наконец он перестал стучать, взял эту железяку и пошел с ней к остову разобранной машины, приложил ее над задним колесом, а затем вытащил из-под навеса сварочный агрегат, нацепил на голову маску-щиток и собрался не то приварить, не то припаять эту железяку. Она подошла к нему:

– Папа, нам нужно поговорить.

Он молчал. Скорее всего, он уже понял, что раз она приехала сюда, в «Яму», то простым «оставь меня в покое!» от нее не отвяжешься. Но он молчал, меняя горелку на сварочном аппарате.

– Ты слышишь?

– Ну, слышу. Говори. Чо надо-ть?

– Я хочу уехать.

Он безразлично пожал плечами.

– Насовсем, – сказала она. – В эмиграцию.

Он чиркнул огнивом, и горелка вспыхнула узким, шипящим голубым огнем.

– Папа!

– Да езжай куда хочешь! Только отстань! – сказал он и начал приваривать эту железяку к остову машины.

Она тронула его за плечо:

– Папа, мне понадобится твое разрешение, ты же знаешь. Они не выпускают без согласия родителей.

И вдруг он повернулся к ней, отбросил со лба щиток, и в его голубых глазах она увидела такое же, как в сварочной горелке, бело-жгучее пламя. Он сказал, как плюнул:

– Я тебе не папа! Не папа! Поняла?

– Нет! – ответила она, покачав головой. – Ты можешь звать меня еврейской подстилкой, жидовской шлюхой – кем угодно! Но, кроме меня, у тебя нет никого в мире.

Он отвернулся и стал опять приваривать свою железяку. Только шов пошел не прямой – рука дрожала.

– Папа... – тихо произнесла Анна. – Скажи мне честно: тот сосед, который в тридцать пятом написал на тебя донос в гэбэ, он был еврей?

Отец молчал, продолжая свою неровную сварку. Анна с силой дернула его за плечо, развернула лицом к себе:

– Ну скажи! Признайся! Ты ненавидишь евреев, потому что сорок лет назад какой-то жид написал на тебя донос в КГБ! Так? Да?

– Отстань! – Он вырвал плечо и отвернулся, упрямо продолжая сварку.

Рев пролетевшего по озеру катера ударил ей в уши, а глаза заболели от пламени отцовской горелки. Но она думала не о себе, она думала о нем. Вот уже сорок три года его душу выжигает пламя бессильной злости.

– Отец, давай выпьем, – вдруг сказала Анна. От удивления он даже повернулся к ней:

– Что?

– Давай выпьем, папа. Пойдем.

Он выключил горелку и выдохнул хрипло:

– Поздно, Анна. Сгорел я на хер!

– Папа! – Анна порывисто обняла отца, прижала к себе и вдруг почувствовала, какой он маленький и легкий – как ребенок. И еще – что он плачет, уткнувшись небритой щекой в ее плечо.

– Папа!..

– Поздно, дочка... Поздно... Сгубили они мне жизнь... – Он оторвался от нее, кулаком утер мокрое лицо.

– Евреи или КГБ? Подумай, папа!

– Одно дерьмо!.. Вы, это... Вы хотите ехать – ехайте. Из этой сраной страны – ехайте, конечно. Ты видишь, что они с моей жизнью сделали? Ехайте, я вам все подпишу. А только выпустят вас? Твой-то ученый...

– Я одна хочу ехать, папа.

Он отстранился, посмотрел ей в глаза:

– Без еврея-мужа кто ж тебя пустит?

Но она оставила этот вопрос без ответа, сказала:

– Папа, мне нужна твоя помощь. Есть один человек в КГБ, полковник Барский. Мне нужно знать о нем все, *абсолютно* все, понимаешь? У тебя же остались друзья в этой конторе. Я имею в виду твоих шоферов в гараже КГБ. А шоферы всегда знают все о своих хозяевах...

Он покачал головой:

– Нет, Аня. С этой конторой в такие игры не играют.

Анна властно взяла отца за ворот ковбойки:

– Отец, посмотри на себя! Они изговняли всю твою жизнь и выбросили тебя в эту помойку. Они, а не тот сосед! А теперь они лезут в мою жизнь, чтобы сделать со мной то же самое! Ты хочешь, чтоб я стала стукачкой и гэбэшной шлюхой? Ты позволишь им сделать это?

– Эй! – крикнул сверху Лопехин. – Только без рук, принцесса! Даже Корнелия не поднимала руку на своего папу, короля Лира!

– Пошел в задницу! – негромко огрызнулась Анна.

– Тихо, Аня! – испугался отец. – Осторожно при нем-то. Он же сам гэбэшник!

Анна усмехнулась:

– Еще бы! Иначе вас бы тут давно закрыли! – И крикнула наверх, Лопехину: – Ваня, я отца забираю на пару дней, у нас семейное торжество!

8

Он не знал, что потянуло его на зимник. Три редакционных блокнота были полны записей, достаточных для целой серии статей о жизни на полюсе холода. Хотя Мирный ежемесячно поставлял в государственную казну двести килограммов алмазов (*алмазов!*), половина местных рабочих и инженеров жили в убогих бараках, где стены и потолки обрастали инеем даже при самом мощном сибирском отоплении и дополнительных электрообогревателях. А остальные пятьдесят процентов вообще ютились в «Шанхае» – районе землянок, стальных бочек и шалашей-самостроек. И это при том, что молодые архитекторы города еще пять лет назад получили гран-при на Монреальской международной выставке за проект «города под куполом» – жилого комплекса, в котором две тысячи рабочих могли жить в нормальных, человеческих условиях. Под реализацию этого проекта местное начальство выбивало в Москве огромные средства, материалы и технику, но потом все это куда-то исчезало, тонуло в болотах, ржавело в тайге и уходило *налево* – на строительство дач и особняков этого же начальства в Якутске, Вилюе, Ленске и в самом Мирном.

Собирая эти факты, Рубинчик не удивлялся – он видел то же самое на строительстве Братской электростанции, Сибирского газопровода и еще на десятках так называемых строек коммунизма. Пикантной примечательностью Мирного было лишь то, что здесь социализм демонстрировал себя в чистом виде: он выжимал из рабочих алмазы, а в обмен давал им бумажные рубли, на которые можно было купить только водку, кое-какую еду и – мечту всей жизни! – месячную путевку на Черное море.

Но серию статей на эту тему даже «Рабочая газета» печатать, конечно, не станет, дай Бог пробить через цензуру хотя бы десять процентов тех критических фактов, которыми полны его блокноты. И значит, вместо беготни по рабочим общежитиям и кабинетам местного начальства можно спокойно переночевать в теплой гостинице, а утром улететь домой, в Москву. И Рубинчик уже начал упаковывать свою дорожную сумку, но какое-то властное чувство, которое газетчики именуют журналистским чутьем, заставило его остановиться, глянуть на часы, почесать в затылке, а потом решительно натянуть меховые штаны и унты, надеть овчинный полушубок и шапку и спуститься по лестнице на первый этаж, к телефону, чтобы вызвать такси. Потому что еще пять дней назад, на подлете к Мирному, он обратил внимание на тонкую ниточку зимника, пересекающую тайгу с юга на север. Сверху, из иллюминатора самолета, несколько грузовиков, ползущих по зимнику, показались ему тогда настолько крохотными и одинокими, что он невольно представил себя за рулем одного из них – наедине с бескрайней ледяной пустыней, как герои Джека Лондона. О чем думают эти шоферы в дороге? Как живут? Где останавливаются? И что тянет их на Север? Только деньги? Или этот неясный зов, исходящий откуда-то из глубин тундры, который даже он, приезжий, ощущает тут каждой клеточкой своего тела?

Но как гурман оставляет самое вкусное блюдо на закуску, так и он отложил тогда поездку на зимник на последний день. Хотя слышал зов зимника постоянно, все пять суток своего пребывания в Мирном, и особенно остро – по ночам, когда не мог уснуть в сотрясаемой пьяным храпом гостинице «Полярник». Клетушки-номера этой маленькой двухэтажной деревянной гостиницы (без душа и с общим туалетом на первом этаже) были забиты командированными геологами, бурильщиками и «толкачами», в каждой комнатке стояли по три или четыре койки, а в коридорах спали и на дополнительных раскладушках, и вся эта сотня могучих таежных быков считала своим святым долгом принять перед сном бутылку водки или питьевого спирта, а затем немедленно провалиться в сон и храп.

Рубинчик не понимал этого. Он тоже мог выпить, а в хорошей компании мог и много выпить – ту же бутылку водки, к примеру, – но он никогда не понимал стремления этих людей *напиться*. Хотя видел это во всех своих поездках по стране. Странная, необъяснимая черта

нации, на которой останавливалось его родство с ней. Потому что во всем ином он, как ему казалось, понимал этот открытый, веселый и доверчивый народ, любил его и вообще считал себя одним из них. Какой он еврей?! Вот и сейчас, сменив на зимнике уже шесть водительских кабин, он кайфовал от того, как легко, сразу, буквально за пару минут, он находит контакт с этими таежными шоферами и как открыто, доверчиво и просто они рассказывают ему свои житейские истории.

– Я с Урала, бля. После армии поступил в Свердловске в политехнический институт, астрономом мечтал стать и телескопы делать. С детства у меня такая страсть – телескопы, ага. Но влюбился в одну целку со старшего курса – по уши! Хочу ее и все, мочи нет! Ладно, женились мы. Я счастлив – такого второго счастливого во всей России не было, правда. Но как на студенческую стипендию вдвоем жить, однако? Когда один – сварил пачкупельменей за 38 копеек – юшка от них вместо супа, как первое, с хлебом можно кушать, а сами пельмени – на второе. Короче, на рубль в день я вполне мог прожить, даже на восемьдесят копеек! Но жену ведь не стану юшкой от пельменей кормить, так? Ладно, перешел на вечернее отделение, а днем стал на такси шоферить. Комнату сняли, я ей с трех получек шубу купил и вообще – на руках носил, ей-богу! А уж она меня за это любила – слов нет! И в постели, и вообще. Зимой я приходил с работы замерзший, как пес – у нас же после двенадцати ночи автобусы не ходят, коммунизм, бля, забота о людях! Так она меня всегда в дверях встречала с тазом горячей воды – ага, ноги мне согревала, ну гад буду – не вру! Но что ты думаешь? Однажды у меня карданный вал полетел в машине, и я вместо двенадцати ночи пришел домой в три дня. Открываю своим ключом дверь – думал ей сюрприз сделать. Захожу, а она в кровати с нашим соседом, ага! И так они этим делом увлеклись, что даже не слышали, как я вошел. Ну, я, конечно, погорячился – я их табуреткой порешил обоих, ага. Дубовая табуретка была, тяжелая. Ну, дали мне восемь лет за убийство на почве ревности. Отсидел вот тут недалеко, в Ленске. А вышел и уже домой не вернулся. Чего я там не видел? Телескопы, правда, жалко, шесть телескопов в Свердловске остались...

«О, если б не было этой проклятой цензуры, дозирующей правду! – думал Рубинчик, сидя в кбинах машин таежных водителей. – Какие сюжеты, какие жизненные драмы и трагедии встречаются на каждом шагу!»

– В нашей деревне никого не осталось, даже кошек, ага. Старики – кто повымер, кто на юг подался, а молодежь давно разбежалась. Еще когда Хрущев приказал кукурузу на заливных лугах сеять, чтоб Америку по кукурузе догнать. На заливных-то лугах – кукурузу, это ж додуматься надо! Ну и загубили всю нашу Вятскую губернию, которая раньше-то масло и сыры в Европу поставляла. А теперь – ни масла, ни кукурузы, ни коров, ни людей. Пусто! Я ездил прошлый год в отпуск на Черное море, завернул домой, хотел могилы родителей найти – какое там! Они и могилы перекопали под ту кукурузу, чтоб им пусто было!..

Луна, низкая и яркая, как натертая медная тарелка, бежала слева от кабины по пикам темных таежных сосен. Тараня фарами морозный туман и давя обутыми в цепи колесами узкую ледяную дорогу, тяжело груженный грузовик осторожно катил на север. На сотом километре от Мирного водитель свернул с темного зимника на освещенную гирляндой ламп площадку, где ворчали двигателями и дымились выхлопными трубами штук тридцать грузовиков и бензовозов. За ними, вплотную примыкая к урманной тайге, стояли два дома, сложенные из свежих бревен.

– Автопункт «Березовый», – объявил водитель Рубинчику. – Заправиться можно.

И, не выключив мотора – «чтоб движок не заморозить», – выпрыгнул из кабины на жгучий мороз, побежал в автопункт, громко скрипя по снегу войлочными валенками. Рубинчик поспешил за ним, удивляясь нарастающему в душе чувству безотчетной тревоги и радости. Он знал эту странную и терпкую смесь предчувствия, которое никогда его не обманывало. Так вот, оказывается, что звало его сюда! Но откуда взяться иконной диве в тундре, на зимнике, среди

этих таежных волков, которые наверняка перетрахали тут все живое, что имеет хоть какое-нибудь отношение к женскому полу?

Обмахнув на пороге унты еловыми ветками и войдя вслед за шофером в двойные, утепленные войлоком двери автопункта, Рубинчик оказался в довольно большой и жарко натопленной комнате-столовой, где за двумя длинными некрашеными деревянными столами не то ужинали, не то завтракали водители ворчащих во дворе грузовиков и бензовозов – ватники и полушубки на полу и на спинках стульев, меховые шапки в ногах, а на столе перед каждым тарелки с борщом, гуляшом, блинами и неизменной брусникой. Сбоку, в углу – рукомойник с серым мокрым вафельным полотенцем (одним на всех), а в глубине комнаты – кухня и стойка раздачи. У стойки – короткая очередь только что прибывших водителей, а из кухни от широкой плиты волнами катит через эту стойку пар и запахи вареной оленины, жареного лука, блинов, супа, гречневой каши и еще Бог знает чего. В столовой эти запахи смешиваются с запахами солярки, тавота, табака, мужского пота, овчинных полушубков, еловых веток...

Но даже сквозь эту густую и влажную смесь пара и дыма Рубинчик сразу увидел ее – там, за стойкой раздачи, рядом с толстой поварихой. Худенькая, с длинной шеей, в белом застиранном фартуке, серые глаза, русые волосы убраны под косынку. Далеко не красавица, а, скорее, словно догадка о будущей красоте – как абрис на негативе. Очередной шофер говорит ей по-свойски:

– Значит, так, Танюша! За наше знакомство – два борща, три гуляша, пару блинов, два стакана сметаны и четыре чая! Если все съем – завтра наша свадьба. Годится?

– А без свадьбы у вас аппетит пропадет? – усмехнулась она.

Ответом ей был хохот шоферов, подначивающих друг друга:

– Не слушай его, Таня. У него три жены на этом зимнике!

– А из чего гуляш-то? Из оленины? А сколько у того оленя было на спидометре, когда его на гуляш-то отправили? Нет, Таня, забудь про гуляш! Дай мне, сестренка, борща – со дна погуше, а сверху пожирней! И журналиста не обидь, московский журналист – ему тоже со дна борща-то. Ты «Рабочую газету» читаешь?

Но она не ответила – вскинув глаза, увидела Рубинчика, встретила его взгляд и словно тоже опознала его каким-то внутренним зрением: улыбка пропала с лица, взгляд стал сразу испуганным, серьезным, пытливым.

– Мне, пожалуйста, только блины и чай, – попросил он.

– Сколько стаканов? – тихо спросила она.

– Один.

Еще пару минут назад, на таежной зимней дороге, он не знал, какой внутренний импульс привел его сюда, на окраину вселенной, в эту промерзшую до мезозойских глубин тундру. Но теперь, принимая у нее из рук алюминиевую тарелку с блинами, он ясно почувствовал, как наэлектризовалась каждая клетка его тела, как заострились в нем, ожили и напряжились все пять органов чувств, а шестое, интуиция, уже ликовало в душе: это Она, Она, Она! Чудо, которое он ищет уже семнадцать лет – вот оно, за прилавком!..

Тут, хлопнув дверью и впустив клубы морозного воздуха, в столовую вошли плотный коренастый якут в меховом полушубке с погонями майора КГБ и еще трое мужчин. Один из них был молоденький солдат в шоферском замазленном бушлате, а двое других – судя по их новеньким полушубкам – приезжие. И Рубинчику показалось, что он видел их раньше, но где?

При появлении майора КГБ, которого все тут, видимо, знали, таежные водители смолкли на миг, а потом разом заговорили друг с другом деланно ровными голосами, спешно заканчивая с едой. Между тем все четверо вошедших стали в очередь к стойке раздачи, а Рубинчик, получив свой чай и блины, повернулся и вдруг встретился глазами со взглядами этой четверки. И хотя они тут же отвели глаза, что-то задело Рубинчика в их взглядах, как заноза, – какая-то их необычная пристальность, враждебность... В недоумении он прошел мимо них, в

глубину почти опустевшей столовой, сел рядом с доставившим его сюда шофером. Справа от него какой-то молодой круглолицый водитель уговаривал пожилого, остроносого, с оспинкой на лице:

– Дружок мой на бензовозе с моста свалился. Его какой-то подонок обогнал на мостике и бортом ударил – он в кювет и вылетел. Перевернулся и стал на колеса. Ничего, нормально стоит, только мерзнет очень. Вытащишь?

– Работа наша такая, – неясно сказал рябой. – А далеко стоит-то?

– Километров двадцать отсюда. Мостик через Улаху знаешь? Там такой поворот крутой и развилка. Направо – на Айхал дорога, налево – в Надежный...

– Ну, знаю я этот мост, знаю. Только как же он с моста гробанулся?

Через минуту Рубинчик понял, что мужик был водителем «технички» – мощного «КрАЗа», вооруженного лебедкой, цепями и тросами специально для того, чтобы вытаскивать машины, соскользнувшие с колеи в кювет, провалившиеся в болото или еще как-либо угодившие в аварию. Это интересно, профессионально отметил про себя Рубинчик, тут же представился рябому, напросился поехать с ним на выручку перевернувшегося бензовоза и вскоре, доев блины с чаем, уже катил в кабине «КрАЗа» на север и слушал очередной рассказ своего водителя об этих молодых охламонах, которые «делом-то и ездить еще не умеют, а уже по зимнику гоняют».

– Тут намедни один так гнал, что у него задний борт открылся, а он и не заметил, и весь груз на поворотах в кювет улетел. А груз-то – не чего-нибудь, а шампанское – триста двенадцать ящиков с шампанским, это больше трех тысяч бутылок в тайгу улетело! Половина побилась, конечно...

Слепо, в темноте кабины, записывая эту историю в блокнот, Рубинчик поймал себя на том, что слушает и пишет автоматически, почти не вникая в суть и смысл, а сам уже нянчит в душе эти серые, тревожные, спрашивающие и зовущие глаза таежной княжны с автопункта «Березовый».

– Вот глянь, как ездят, глянь! – показал ему вперед рябой водитель. – Уши надо надрать за такую езду!

Действительно, впереди желтые габаритные огни какой-то машины виляли на дороге из стороны в сторону.

– Он пьяный, что ли?

– Не пьяный, а с прицепом. Только мозгов нету! Ладно, мой будет, куда он с такой ездой денется!

И шофер, войдя в крутой поворот, свернул на выходе из него направо, а виляющий огнями грузовик исчез в левом таежном рукаве зимника. Еще через минуту «КрАЗ» медленно вполз на временный мост над замерзшей речушкой, и оба они – и водитель, и Рубинчик – увидели внизу, на льду реки, огонь небольшого, в ведре, костра. Неподалеку стоял бензовоз, утонувший в снегу выше колес.

– Приехали, – сказал рябой и посмотрел назад. – Интересно, чего это КГБ на ночь глядя в Надежный поперло? Ведь не доедут на «Ниве»-то!

– Какое КГБ? – не понял Рубинчик.

– А наш-то начальник КГБ, майор Хулзанов. Я думал, они тебя охраняют, а они в Надежный свернули.

– Меня охраняют? – засмеялся Рубинчик, но тут же вспомнил острые, как занозы, взгляды той четверки. – А зачем меня охранять?

– А кто вас знает, вы же птицы высокие, столичные. Они тебе в затылок еще в столовой зырились, – сказал водитель и, проминая тяжелым «КрАЗом» глубокий цельный снег, повел машину по спуску к реке, к спешившему им навстречу шоферу бензовоза.

Неприятный озноб прошел по спине Рубинчика – он вспомнил, где он видел мужчин, сопровождавших майора-якута. В гостинице «Полярник», в соседнем номере. И в ресторане «Северное сияние». И в клубе «Алмазник». Но что с этого? Может, потому они и зырились на него, что тоже узнали в нем соседа по гостинице? В конце концов, в Мирном только одна гостиница, один ресторан и один клуб...

Между тем рябой, зацепив бензовоз тросом, вытащил его на дорогу и собрался назад, на автопункт, но тут рядом с «КрАЗом» притормозил кативший с севера грузовик, и его водитель сообщил, что километров десять северней еще один бензовоз свалился с дороги в кювет и ждет помощи.

Однако через час они все-таки вернулись на автопункт, и Рубинчик еще с порога увидел, как радостно вспыхнули глаза и зарделись щеки его новой таежной дивы. А кто-то из водителей сказал рябому хозяину «КрАЗа»:

– Дядя Ваня, не раздевайся! Там, на рукаве в Надежный, гэбэшная «Нива» тебя зажда-лась.

– А что с ней?

– А они пошли на обгон какого-то фургона с прицепом, а он прицепом и бортанул их с дороги! Уже час в кювете загорают!

У Рубинчика отлегло от сердца – так вот, оказывается, за кем гнались гэбэшники.

– Ладно. Пусть позагорают еще чуток, а я чаю попою сначала, – сказал рябой и пожаловался Рубинчику: – Вот такая наша работа. Опять со мной поедешь или наработался сегодня?

– Нет. Я, пожалуй, назад поеду, в Мирный.

Хотя выяснилось, что вовсе не он интересовал КГБ, Рубинчику меньше всего хотелось снова встретиться с майором-якутом и его командой, с их странно-враждебными и холодными глазами. И вообще, ему стало как-то не по себе в этой замороженной тундре и грязной столовой, хрен знает где – в Якутии, за Полярным кругом! Тем более что и его дива, сняв свой, прямо скажем, далеко не белый передник, вдруг исчезла в задней комнате кухни.

Он сидел в дальнем углу столовой, пил чай, грея руки о горячий граненый стакан и глядя на дверь, за которой она исчезла. Но она все не появлялась. Он взял с соседнего столика свежую «Правду», забытую кем-то, и тут же увидел на первой странице короткое, но «гвоздевое» сообщение, обведенное чьей-то авторучкой:

НАКАЗАТЬ ПО ЗАСЛУГАМ!

Анатолий Щаранский, Юрий Орлов и их сообщники фабриковали злостные пасквилы, в которых нагло и беззастенчиво клеветали на Советскую страну, на наш общественный строй. Антикоммунисты и противники разрядки, которых не так уж мало на Западе, с радостью подхватывали их злобные измышления, а теперь пытаются превратить этих вралей и клеветников в «борцов за права угнетенных советских людей». Щаранский этого и добивался. Дело в том, что он уже давно решил покинуть Родину и уехать на Запад. Логика предательства закономерно бросила «борца за права человека» в объятия спецслужб, превратила его в обыкновенного шпиона. Щаранский лично и через своих сообщников собирал секретные данные о дислокации предприятий оборонного значения. Весь советский народ требует сурово наказать предателей и шпионов...

Толстая повариха возникла за стойкой раздачи и сказала громко:

– Кому блины? Последняя дюжина осталась, и – все, закрываемся до семи утра!

Рубинчик посмотрел на часы, было без пяти пять. В столовой заканчивали завтракать трое водителей, а рябой уже ушел к своему «КрАЗу». Даже если эта красotka появится сейчас в столовой, у него уже нет ни охоты, ни вдохновения играть в эти романтические любовные

игры. От этого правдинского требования наказать Щаранского и Орлова «по заслугам» веет мерзостью и неумелым враньем: шпионы не пишут пасквили на страну, в которой они шпионят! Эти зажавшиеся правдисты даже соврать толком не умеют! «Предприятия оборонного значения», о которых Щаранский сообщил Западу, это тюрьмы, где заключенные шьют солдатские шинели и рукавицы. Интересно, кто мог оставить тут эту газету да еще подчеркнуть в ней такое сообщение? Шоферы или... Нет, нужно смыться, нужно смыться отсюда, пока рябой не привез сюда этих сраных гэбэшников с их опасно пронзительными взглядами. Рубинчик встал и спросил у поднявшихся шоферов:

- Вы на север или на юг?
- На север. А тебе куда?
- Да мне на юг, в Мирный.
- Так выйди на зимник, тебя любой подхватит.
- Тоже правильно.

Рубинчик надел свой тяжелый полушубок и завязал тесемки меховой шапки, еще надеясь, что все-таки появится эта Таня – он никогда не уезжал из командировок, не найдя новую диву, и ему было странно ретироваться сейчас, когда эта Таня была так близко, рядом. Но тут толстая повариха вышла из-за стойки с метлой и шваброй, чтобы начать уборку, и ему не оставалось ничего иного, как пойти за шоферами на выход. Толкнув наружную дверь, он оказался на улице, на обжигающем легким морозе, и сразу почувствовал себя усталым, разочарованным, невыспавшимся. К чертовой матери эту тайгу, эти якутские алмазы и вообще всю эту заполярную экзотику! Хватит с него! Сейчас он с первым попутным грузовиком доедет до Мирного, возьмет в гостинице свою сумку и – в аэропорт, в Москву, в цивилизацию! К душе, к легкой одежде, к нормальной еде, к жене и детям...

- Вы уже уезжаете? – спросил в темноте тихий и низкий голос.

Он оглянулся. На утоптанном снегу зимника, в лунной тени от заснеженной лиственницы стояла невысокая плотная фигура в шапке-ушанке, темном меховом полушубке, ватных штанах и валенках. В этой фигуре было невозможно узнать тоненькую юную раздатчицу, и даже голос ее стал на морозе ниже тоном, но Рубинчик уже понял, что это она. Она!

- Да, – сказал он. – А вы тоже в Мирный?
- Нет, я гуляю. Я всегда после смены выхожу подышать тайгой. Вы любите тайгу?
- Да как вам сказать... – замялся он, чувствуя, как от мороза уже деревенеют щеки.
- А я люблю! Осенью тут рябчики гуляют, как на бульваре. А бурундуки музыку любят. Нет, правда! Я ухожу в тайгу с магнитофоном, включаю, и они идут за мной, открыто идут и слушают. Честное слово! А иногда я им свои песни пою.

- А вы пишете песни?

- Да. Хотите я вам спою?

– Здесь? – Он проводил взглядом пустой грузовик, промчавшийся мимо них на юг по зимнику.

– Нет, на таком морозе не споешь! – усмехнулась она. – Но я давно хочу показать их кому-то, кто понимает в стихах. У вас есть время? Как вас зовут?

- Иосиф.

– Красиво. Как Сталина. – Она свернула с зимника в тайгу и в полной темноте, под ветками разлапистых сосен, скрывших луну, стала углубляться в лесную чашу по только ей заметной тропе.

– Действительно, как Сталина, – идя за ней, удивился Рубинчик, ему это никогда не приходило в голову. – Но, вообще, это библейское имя. А куда мы идем?

– Тут близко, не бойтесь, – улыбнулся впереди ее голос. – Тут старая охотничья заимка есть. Там уже сто лет никто не живет, это мое открытие. И я там свою гитару держу и стихи. Я

как чувствовала, что вы сегодня приедете, – с вечера там протопила. – Вдруг она повернулась к нему на узкой тропе, зорко глянула в его глаза: – А вы давно в Мирном?

– Пять дней. А что?

– Странно... Я пять дней там печь топлю... Между прочим, у вас сейчас щеки отмерзнут! Снегом потрите! А вообще, мы почти пришли.

Действительно, в нескольких шагах от них, под кроной гигантской таежной сосны темнело какое-то крохотное низкое сооружение – не то бревенчатый шалаш, не то по крышу утонувшая в снегу избушка. Вниз к ее входу вела выкопанная в снегу тропа, которая упиралась прямо в дверь, запертую деревянным засовом.

Нагнувшись, Таня осмотрела следы возле двери и усмехнулась:

– Соболя приходили и мишка. Я тут соболей морковкой подкармливаю, а медведю обидно, конечно.

Она сдвинула засов на двери и толкнула ее внутрь.

– Заходите! Сейчас я лампу зажгу. И снегу возьмите, щеки натереть, а то отморозите!

Он усмехнулся:

– «В стране их холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе яму, на которую они приделывают деревянную крышу и на крышу накладывают землю. В такие жилища они поселяются всей семьей и, взяв дров и камней, разжигают огонь и раскаляют камни на огне докрасна...»

– Что вы сказали? – удивилась она.

– Это не я, это один арабский путешественник написал о русах в десятом веке, – ответил Рубинчик и пояснил: – Я по образованию историк.

Через несколько минут керосиновая лампа и сухие дрова, вспыхнувшие в кирпичной печи, осветили крохотную, с низким потолком комнатку с деревянными полками, связками лука и портретом Пушкина на бревенчатых стенах, с вытертой оленьей шкурой на полу, со сложенными в углу дровами, с чугунным котелком воды на той же печи, и саму Таню, сидящую на низкой дубовой лавке-полатях. Перебирая струны гитары, она негромко пела Рубинчику, сидящему в своем меховом полушубке на полу, на оленьей шкуре:

– Спасибо, Господи, за то, что я живу
В тайге, в глуши, в тиши лесной, оленьей!
Какое это редкое везенье!
Спасибо, Господи, за то, что я живу,
Храню себя в смиреньи и терпении
До рокового дня и вдохновенья
Храню себя.
В глуши.
В тиши
Храню.
Не уроню,
Клянусь, не уроню —
До рокового в полночь вдохновенья...

Рубинчик слушал эту полупесню-полуречитатив и понимал, что это, конечно, не Бог весть какая поэзия, а подражание модным поэтам и бардам. Но доверительность, с которой пела ему Таня эти простые слова девичьей молитвы, наполнила его душу нежностью к ней. Словно какая-то нить протянулась от его души к ее душе и телу. И когда прозвучал и растаял

последний аккорд, Рубинчик встал, шагнул к Тане, нагнулся к ее серым глазам и поцеловал ее в губы.

Она не отстранилась, а ее мягкие губы ответили ему чутким встречным движением.

Он закрыл глаза, слыша победный, как зов боевой трубы, всплеск бешеного вождения в своих членах. Господи, спасибо Тебе! Спасибо Тебе за это таежное чудо, за это пульсирующее страстью белое тело, простертое в сполохах камина на оленьей шкуре, за скифские курганы ее груди и аркой изогнутую спину, за жадную беглость ее языка, хриплое дыхание экстаза и узкое соловьиное горло ее волшебной западни...

– Не спеши, дорогая, не спеши...

«Эти камни, раскаленные на огне, русы обливают водой, от чего распространяется пар, нагревающий жильё до того, что снимают даже одежды. В таком жильё остаются они до весны...»

Зачем это вспомнилось ему? Почему? Да еще в такой момент...

Именно в этот момент гэбэшная «Нива» майора Хулзанова вкатила вслед за «КрАЗом»-«техничкой» в опустевший от грузовиков двор автопункта «Березовый», и трое хмурых мужчин – капитаны Фаскин и Зарцев и майор Хулзанов – вошли в столовую, спросили у подметавшей пол поварихи:

– А где журналист?

– Какой журналист-то? – переспросила повариха.

– Московский журналист был тут час назад. Носатый...

– Ах, энтот! Яврей, что ли? Так давно уж уехал!

– Куда?

– В Мирный, я слыхала.

Офицеры огляделись, Фаскин подозрительно спросил:

– А эта девушка где, напарница ваша?

– Татьяна? Спит давно, поди. В соседнем доме, в общежитии. Позвать?

Офицеры, не ответив, вышли из столовой, прошли по скрипучему снегу в соседний рубленый дом, но ни в одной из его четырех комнат, занятых спящими работниками автопункта, они, конечно, Татьяны не нашли. Кровать ее была аккуратно застелена, на тумбочке лежали несколько книг и стояла фотография Тани в летнем платье, а на соседней койке спала ее сменщица.

– Таня? – переспросила она сонно. – Так она с ночной смены не приходила еще... А сколько времени?

Офицеры забрали Танину фотографию, еще раз обошли оба дома и вышли во двор. Рядом с ними в намечающемся зыбком тундровом рассвете гудели спешащие по зимнику грузовики, фургоны и бензовозы.

– Увез девуку! Вот сука жидовская! – выругался капитан Фаскин и приказал молодому солдату-водителю: – Кончай курить! В Мирный! Быстрей!

Но в Мирном Рубинчик появился лишь в конце дня, перед самым последним рейсом на Красноярск. Он выглядел смертельно усталым. При взлете он оглянулся на убежавшие за иллюминатором огни Мирного и встретился взглядом с глазами капитанов Фаскина и Зарцева, которые сидели в трех рядах позади него. О, они знали этот якобы равнодушный взгляд преследуемой жертвы! Впрочем, он держится молодцом. Или он так затрахался этой ночью, что у него нет сил даже на испуг?

Отвернувшись от них, Рубинчик прильнул к иллюминатору. Внизу, в темноте ранней полярной ночи, светил огнями город добытчиков алмазов, а на западе от него в черном море тайги виднелся редкий пунктир желтых точек – фары кативших по зимнику грузовиков.

«ЯК-28» взял курс на запад, и минут через десять под ним можно было угадать зыбкие, как свет маяка в ночи, огоньки автопункта «Березовый».

Когда эти огоньки проплыли под крыло самолета, Рубинчик откинулся к жесткой спинке алюминиевого кресла и тут же уснул спокойным, усталым и удовлетворенным сном человека, выполнившего свой профессиональный и мужской долг.

Через три кресла от него сидели капитаны Фаскин и Зарцев. Им не спалось, им хотелось вышвырнуть этого жида из самолета прямо сейчас, над тайгой. Но они этого не сделали, конечно. Они знали, что рано или поздно они сквитаются с ним за все. В конце концов, кроме пассивной слежки за врагом, у КГБ есть и другие приемы.

9

Конечно, он не спал. Как можно спать, когда гэбэшники буравят твой затылок такими глазами, словно собираются избить, как избил его восемь лет назад в Калуге какой-то штангист, невесту которого Рубинчик вел в свой гостиничный номер за день до их свадьбы. С тех пор Рубинчик перестал *водить* к себе девушек, а предоставил им возможность приходить к нему самим, и, надо сказать, в этом было даже еще больше риска, вызова или то, что англичане называют challenge. Но гэбэшники не могли видеть его с Таней, он ушел с ней в тайгу до их появления на автопункте. И все же он ясно чувствовал на своем затылке скрепление их ненавидящих глаз. Словно они постоянно держали его на мушках своих пистолетов.

Прикинувшись спящим, Рубинчик лихорадочно рассуждал: в чем дело? что им нужно? Ну, не поймали они того идиота с прицепом – он тут при чем? Не могут же они считать его сообщником какого-то бандита! Нет, он просто паникер и трус! Да, еврейский трус, вот он кто! Конечно, сегодня ночью он сделал женщиной (и какой женщиной!) очередную русскую диву. Но что с этого? Слава Богу, постель – это не по их профилю, они охотятся за диссидентами, диверсантами и американскими шпионами. К тому же утром, когда он уходил от Тани, вокруг ее таежной заимки не было ни души, только мелкие строчки беличьих лапок по свежему снегу. Он вышел из тайги на пустой зимник, голоснул первому же грузовику, катившему порожняком на юг, и уже через пять часов (и после двух пересадок) был в Мирном. Правда, первыми, кого он встретил в гостинице «Полярник», были именно эти двое с их враждебно-сизыми глазами. Однако и это ни о чем не говорит. Они не поймали бандита или тайного перевозчика ворованных алмазов и хотят сорвать свое зло на первом попавшемся еврее. Это типично для России, даже Горький писал об этом замечательном свойстве русского характера...

Однако никакие разумные доводы и соображения не успокаивали. К тому же в самолете пахло чесночной колбасой и самогоном, немывтыми ногами, потом, овчинными кожухами и карболкой из туалета. Кто-то, разувшись, сушил портянки, навернув их на голенища сырых валенок. Кто-то курил отвратительно-вонючие сигареты «Дымок». Еще дальше впереди кто-то с пьяной громогласностью рассказывал антисемитские анекдоты: «Абрам приходит с работы, а Сарра в постели с соседом...»

И то ли от этой грязи, то ли от ощущения странной опасности, исходящей от этих гэбэшников за его спиной, Рубинчик вдруг почувствовал себя вовсе не первооткрывателем экзотических земель, а сиротой-инопланетянином, забытым на какой-то варварской планете. И совсем иначе, чем раньше, вдруг увидел страну, по которой все эти годы летал и ездил в свои романтические командировки. Это вафельное полотенце у рукомоиника на автопункте «Березовый» – черное от грязи и одно-единственное на всех шоферов зимника, потому что остальную сотню – недельную норму полотенец на автопункт – начальник этого автопункта просто украл. Эти серые, рваные простыни в гостинице «Полярник», которые меняют только раз в десять дней, да и то на такие же серые и рваные – потому что новые простыни директор гостиницы просто пропил. Этот мирнинский «Шанхай», где сотни рабочих семей – с детьми! – живут в металлических бочках и фанерных лачугах, оледенелых и снаружи, и внутри, – потому что дирекция и партком треста «Алмаздобыча» растащили на свои дачи все стройматериалы, завезенные сюда для «города под куполом». И так – везде, всюду, от Заполярья до Памира, от Хабаровска до Москвы. Потная, немывтая, люмпенская страна с имперскими амбициями и антисемитскими анекдотами, строящая космические ракеты, но разрывывающая все, что только можно украсть на своих «великих стройках коммунизма». Погрязшая во взяточничестве, воровстве, коррупции и стервозности, как алкаш в придорожной канаве. С варварской агрессивностью вождей, готовых «по просьбе трудящихся» расстрелять за правдивое слово об их режиме, и с рабской покорностью спивающегося народа – вот что открылось вдруг внутреннему взору

Рубинчика. И он ужаснулся: если сейчас, здесь, прямо в самолете эти гэбэшники арестуют его по своей прихоти или вместо того непойманного бандита – ничто не спасет его, и никто, даже главный редактор газеты, не рискнет и спросить у властей, куда он пропал. Он просто исчезнет в каком-нибудь сибирском лагере, растворится в пермских болотах...

Рубинчик открыл глаза и глянул в иллюминатор. Как всегда, Сибирь от горизонта до горизонта была укрыта сплошной облачностью. Только изредка в редких разрывах тяжелых облаков можно было разглядеть заснеженную тайгу, гигантские каменистые разломы каких-то доисторических оврагов, синие извилистые ленты замерзших рек и желто-серые панцири льда на болотах. Бесконечно мертвое и замороженное пространство. Как писал в X веке один араб-путешественник, *«остров, на котором живут русы, покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр»*. Черт возьми, так что же тянет сюда, в эти гиблые замороженные просторы, и татар, и монголов, и шведов, и немцев, и евреев, и французов? Какая мистическая сила? Гитлер, Наполеон, Карл XII, Чингисхан, а еще раньше, до них – хазарские цари...

– Товарищ пассажир, вы будете завтракать?

Рубинчик отвлекся от иллюминатора. Юная, не старше семнадцати стюардесса с васильковыми глазками на круглом прыщавом личике девственницы, в короткой форменной юбочке, серых шерстяных чулках и фетровых полуботинках стояла над ним с целлофановым пакетом в руках. Рубинчик скосил глаза и увидел, как два гэбэшника разом, будто ревнивые родители, повернулись к ним. Он посмотрел на стюардессу и покачал головой:

– Нет, спасибо.

– Напрасно отказываетесь! – вдруг бойко сказала она, заглядывая ему в глаза. – Тут финский сервелат и болгарские яблоки! Очень вкусно. Вы, между прочим, со мной в третий раз летите. Я читаю ваши статьи в газете. Возьмите завтрак, не пожалеете! Меня Катей зовут.

Она вставила перед Рубинчиком ножки столика в пазы подлокотников и положила на этот столик пакет с завтраком, наклонясь к Рубинчику так близко, что ее льняные волосы коснулись его лица.

– Вам чай или кофе?

Рубинчик, скосив глаза, видел, как побелели не то от злости, не то от ревности лица его соседей-гэбэшников.

– Чай, – сказал он.

– Правильно, – одобрила Катя. – Кофе возбуждает. А вам лучше поесть и поспать. До Москвы еще шесть часов. – И повернулась к гэбэшникам: – А вы будете завтракать?

– Будем, – буркнули они.

– Ждите, – сказала она им совершенно другим, служебно-отсекающим тоном и ушла по проходу в глубину салона.

Рубинчик, невольно улыбнувшись, вновь отвернулся к иллюминатору. Все его страхи вдруг улетучились и разом забылись, как невралгический спазм. Конечно, это варварская, потная и немытая страна. Но тут его знают, читают и даже узнают в лицо! А в глухих и дальних углах этой страны (и даже здесь, в самолете!) еще можно найти тихие генетические отблески той былой русско-нордической красоты, которая открыла ему свою древнюю тайну только однажды, давным-давно, семнадцать лет назад, на ночном волжском берегу, но которая с тех пор так волнует его, что он каждый месяц срывается из Москвы, бросает жену и детей и мчится в Сибирь, на Урал, на Алтай. Так не за этим ли приходили сюда, сами того не зная, и немцы, и французы, и поляки, и шведы, а задолго до них, еще в шестом веке, – евреи?

«И бежали из Персии наши предки... И приняли их к себе люди казарские, потому что люди казарские, жившие на Итиле по соседству с аланами, гузами, булгарами и русами, жили в те дни без закона. И породнились наши предки с жителями этой страны и научились делам их. И они всегда выходили с ними на войну и стали одним с ними народом. И не было царя в

стране казар, а того, кто одерживал победу на войне, они ставили над собою военачальником. И продолжалось это до того дня, когда евреи вышли с ними по обыкновению на войну и один еврей выказал в тот день необычайную силу мечом и обратил в бегство врагов, напавших на казар. И поставили его люди казарские над собою военачальником. А главного князя казарского они переименовали в Сабриила и воцарили царем над собой. И заключил царь союз с нашим соседом, царем алан, и был ужас Божий на народах, которые кругом нас, так что они не приходили войной на казарское царство...

Но во дни злодея Романа, царя македонского, было гонение на иудеев в Константинополе. И когда стало известно это царю казарскому, то ниспроверг он в царстве своем множество необрезанных. А Роман-злодей послал большие дары Игорю Старому, царю Руски, и подстрекнул его воевать с царем Казарским. И пошел Игорь ночью к казарскому городу Самкерцу и взял его воровским способом, потому что не было там начальника, раб-Хашмоная. И стало это известно досточтимому Песаху, хакан-беку и главному полководцу царя казарского, и пошел он в гнев на Романа, и взял Самкерц и еще три города, не считая большого множества пригородов. И оттуда он пошел на город Херсонес и воевал против него, и спас от руки русов, и поразил всех оставшихся из них там, и умертвил их мечом. И оттуда он пошел войной на столицу Игоря...»

«Вот! – вдруг подумал Рубинчик под рев двигателей „ТУ-134“ – Вот где случился главный трагический поворот русско-еврейской истории! На кой черт пошел Песах войной на Киев? Ну, отбил Самкерц и Херсонес и еще три города, не считая большого множества пригородов. Ну, взял с Игоря дань и умертвил мечом всех его воинов. Так зачем было идти войной на русскую столицу?»

– Что же вы не кушаете? – прозвучал над ним обиженный голос стюардессы Кати. – А я вам чай принесла!

Он посмотрел ей в глаза. И вновь – как совсем недавно на зимнике – просторная, доверчивая глубина васильковых половецких глаз открылась перед ним. Казалось, сделай он только жест или крохотный знак, и эта Катя тоже шагнет к нему и прямо на глазах этих вновь взрывшихся гэбэшников ткнется щекой в его плечо и станет его новой покорной рабыней и любовницей. Прямо тут, в самолете.

– Спасибо, Катя, – сказал он и взял с ее подноса стакан горячего чая в алюминиевом подстаканнике.

10

С масляной краски кровь смывается легче всего. Поэтому полы и нижняя часть стен в кабинетах тюремного начальства всегда выкрашены густой, под цвет крови, охровой краской. А выше – уже по вкусу хозяев. У одних это безликая серая побелка, у других – веселая голубая известка, а у третьих – желтая тоскливая масляная краска. Но у всех под потолком лампочки без абажуров и засижены мухами, на стенах портреты Брежнева в голубом маршальском мундире, а на окнах чугунные решетки. За решетками – тюремный двор с плацем для утренних и вечерних построений эков и стендами-лозунгами: «На свободу – с чистой совестью!».

– Гражданин начальник, да вы чо?! Какой я яврей? Я русский! – Очередной эк, вызванный в кабинет начальника Бутырской тюрьмы, вертел в руках свой новенький паспорт.

– Четыре судимости, все – за ограбление. От работы отлыничаешь, филонишь. Какой же ты русский? – веселился начальник. – Короче, так: вот у меня постановление о продлении твоего срока на шесть лет за участие в групповом изнасиловании заключенного...

– Да не насиловал я его, начальник! Меня и в камере не было!

– Не перебивай, насиловал! Выбор твой: или по этому постановлению уходишь в Сибирь на шесть лет гнуса кормить, или берешь паспорт, визу в Израиль и билет до Вены. И чтобы завтра твоего духу не было в нашей стране. Все понял?

– Да какой Израиль?! Начальник! Кто меня туда пустит? У меня даже член не обрезан!

– Там обрежут! А в Америку, я слышал, и с необрезанным пускают. Главное, запомни: если ты там хоть раз вякнешь, что срок тянул, все – ни в Америку, ни в Израиль, никуда не пустят, это факт. А будешь молчать – весь мир твой, хоть в Австралию езжай форточки ломать! Ну, а если хочешь обрезание, можем сделать – я прикажу фельдшеру...

– Нет! Нет, начальник! Спасибо, я так...

Но Барского отнюдь не забавляла эта работа. Он чувствовал даже некую ущемленность от того, как быстро эти люди соглашались покинуть Россию. Конечно, это рецидивисты, алкаши, наркоманы и вообще отбросы общества. И все же – разве они не русские?

Несмотря на свою любовь щегольнуть еврейским словом, Барский был чистокровным русским и, больше того, – дворянином. Его мать, певица, исполнительница русских народных песен, умершая всего два года назад, была из вятских крестьянок, а родословная его покойного отца прослеживалась аж до новгородских купцов, разбогатевших при Петре Великом. Правда, в тридцатые годы, когда отец был удостоен Сталинской премии, это дворянство приходилось скрывать. Но затем страна начала возрождать российские державные традиции, и быть дворянином по происхождению стало в номенклатурных кругах признаком особой благонадежности, исторической верности России. А Барские всегда служили России, это было их родовым знаком, девизом, клятвой. При этом Барский, конечно, не был идеалистом, к семидесятым годам их уже не осталось в СССР, и он хорошо видел, насколько коррумпирован и бездарен брежневский режим. Но ведь это поправимо, нужно только сменить брежневскую клику! Как только Андропов придет в Кремль, они выдернут Россию из кризиса. Потому что главное уже есть! Пусть Ленин болел сифилисом мозга, пусть Сталин был маньяк, а Хрущев пьяница, они, как ни крути, собрали империю, о которой русские мечтали веками. Россия стала сверхдержавой, и если ради ее стабильности нужно посадить пару тысяч еврейских смутьянов и выбросить из страны тысяч сто алкашей и преступников – что ж, он, Барский, выполнит эту миссию.

Правда, одно дело принимать такие решения в роскоши кремлевских кабинетов, и совсем другое – исполнять их в убогих тюремных клетухах «Матросской тишины», «Бутырки» и других тюрем Москвы и Подмосковья...

– Товарищ полковник, вас к телефону!

– Кто?

– Из Комитета, дежурный.

Барский взял трубку:

– Полковник Барский. Алло?

– Полковник, вы слушаете «Голос Америки»? – спросил дежурный по КГБ.

– Что? – изумился Барский. – Почему я должен...

– Сейчас. Включаю запись.

Видимо, дежурный на Лубянке просто положил трубку на магнитофон, потому что знакомый голос диктора «Голоса Америки», плывущий поверх гула советских глушилок, сказал прямо в ухо Барскому:

«Москва. Вчера здесь начался процесс профессора Юрия Орлова в связи с его публичными заявлениями о нарушении прав человека в СССР, а только что возле здания Центрального Отдела виз и разрешений началась демонстрация еврейских отказниц. В демонстрации принимают участие известная активистка Инесса Бродник и еще около ста пятидесяти женщин. Они требуют встречи с начальником ОВИРа генералом Булычевым и...»

– Черт! – выругался в сердцах Барский, швырнул трубку и стремительно вышел из кабинета.

– Вы куда? Товарищ полковник! – выскочил за ним начальник Бутырской тюрьмы.

Но Барский не ответил. Миновав коридор и небрежно отмахнувшись от трех дежурных на посту, он быстро прошел сквозь тюремную проходную и нырнул в служебную черную «Волгу», стоявшую у тротуара.

– К ОВИРу! Гони! – приказал он шоферу, и машина рванула с места.

Опять эти жида надули его! И даже не жида, а жидовки! И – персонально – Инесса Бродник, которая просто рвется в еврейские Жанны д'Арк!

Барский вырвал из клемм трубку радиотелефона, сказал:

– Я – «двадцать четыре-семнадцать». Начальника ОВИРа! Нет, наизусть я его номера не знаю, найдите в справочнике: генерал Булычев.

Конечно, из сообщений своих осведомителей и от службы прослушивания телефонных разговоров иностранных корреспондентов Барский еще вчера знал, что десяток оголтелых еврейских отказниц во главе с Инессой Бродник собираются добиваться приема у генерала Булычева, чтобы устроить в его кабинете сидячую забастовку. На этот спектакль они и позвали западных журналистов. Но Барский решил сорвать их планы и приказал Булычеву проявить вежливость. Иными словами, вместо обычного отказа дежурная в бюро приема посетителей ОВИРа должна была принять у «рефьюзниц» прошение об аудиенции и сказать, что о дате их встречи с Булычевым их уведомят по почте в десятидневный срок. Нормально, как в цивилизованных странах. Таким образом, Бродник оставалась с носом, западные журналисты – тоже, а дней через двадцать, уже после суда над Орловым, Булычев мог бы и принять этих евреек – по одной, конечно...

– Соединяю, – сказала наконец телефонистка, когда машина Барского мчалась по трамвайным путям мимо метро «Новослободская». Затем он услышал еще один женский голос: – Приемная ОВИРа. Слушаю вас.

Барский мысленно выматерился. Эти дуры на телефонном коммутаторе не нашли номера прямого телефона Булычева, а соединили его с приемной! Но ответил он сдержанно:

– Это полковник Барский из госбезопасности. Булычева мне, срочно.

– Минутку... – ответил флегматичный голос, и он услышал стук телефонной трубки о крышку стола.

Так, у Булычева, видимо, нет селектора, и теперь его секретарша пойдет докладывать, кто звонит, Радиотелефон, конечно, гениальная штука, но любая техника пасует в руках ленивых

дебилов и дебилок! Похоже, он быстрее доедет до ОВИРа, чем дозвонится, – они уже миновали Театр Советской Армии, то есть проехали полдороги!

Барский раздраженно оттянул тугой галстук и только теперь вспомнил, почему на нем эта белая накрахмаленная рубашка и отутюженный французский костюм: сегодня в 15.00 у него встреча с Анной Сигал. С Анной! Он сунул руку в карман, вытащил сигареты «Данхилл» и «Столичные», но закурил «Столичные», а «Данхилл» спрятал, покосившись на шофера. Жадно затянулся и подумал: ничего, у него еще есть в запасе карты, которыми он сыграет против этих щаранских, бродник, раппопортов и прочих штейнов. О, это будет его игра, самая крупная игра в его жизни – крупней, чем операция «Миллион на таможне» или арест группы Кузнецова в самолете...

– Слушаю. Булычев, – прозвучало наконец, в трубке.

– Это Барский. Что там у вас происходит?

Впрочем, в этот момент его «Волга» уже выскочила на Олимпийский проспект и он сам увидел, что происходит перед трехэтажным желтым особняком Всесоюзного ОВИРа. Вся мостовая была запружена толпой женщин, которые держали в руках самодельные плакаты: «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!», «ВЫ ПОДПИСАЛИ ХЕЛЬСИНКСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – СОБЛЮДАЙТЕ ИХ!», «ОСТАНОВИТЕ АНТИСЕМИТСКУЮ КАМПАНИЮ В ПРЕССЕ!», «АНТИСЕМИТОВ – ПОД СУД!» и т. п. Некоторые женщины были с детьми, а вокруг этой толпы, как мухи над медом или как стервятники над свежатиной, жужжали своими кино- и фотокамерами иностранные журналисты. Конечно, тут же, но в стороне, на тротуарах, топтались мужья демонстранток, а рядом, вдоль тротуарного бордюра, нерешительно переминалась с ноги на ногу шеренга милиционеров.

– Я принял у них петицию, но они не уходят, – услышал Барский в трубке беспомощный голос генерала Булычева. Но не успел ответить – сзади, за его машиной, вдруг взвыли сирены, Барский оглянулся и увидел несколько «черных воронов» и крытых брезентом грузовиков милиции, которые тоже мчались к ОВИРу. И такие же грузовики и «черные вороны» показались по другую сторону толпы демонстранток, на Цветном бульваре. При их появлении женщины взволновались, их мужья закричали, а иностранные журналисты живо развернули свои камеры навстречу милицейским машинам, ожидая самого «главного блюда» – арестов, мордобоя, сенсации...

– Стой! Разворачивай! – приказал Барский шоферу и, под визг тормозов, даже помог ему повернуть руль «Волги», ставя ее поперек мостовой между толпой демонстранток и милицейскими грузовиками. Затем выскочил из машины навстречу переднему грузовику, властно подняв руку со своим служебным удостоверением и крича: «Отставить! Отставить!»

– В чем дело? Вы кто такой? – высунулся из кабины грузовика кирпичнорожий милицейский полковник.

– КГБ, Пятое управление! – Барский запрыгнул на подножку кабины, сунул полковнику свое удостоверение и сказал негромко, но властно: – Немедленно убирайтесь отсюда! Все! Дайте мне вашу рацию! Кто на связи? – и буквально вырвал микрофон полевой рации из рук полковника.

– Петровка, дежурная часть... – ответил полковник.

– Дежурный! – сказал Барский в трубку. – Говорит Барский из Пятого управления ГБ. Немедленно отзовите к чертям ваши «черные вороны»! А милицию поставьте оцеплением! Но никаких арестов! Остановить все силовые действия! Вы поняли? Прием!

– Но у меня приказ Шумилина, замминистра! Прием! – послышалось из рации.

– С Шумилиным я потом поговорю! А сейчас выполняйте мой приказ! – И Барский швырнул микрофон полковнику. – Имейте в виду полковник, если через минуту ваши е... ные «черные вороны» еще будут здесь, я сниму с вас погоны! Лично, сам! Вы поняли меня?

Не ожидая ответа, он прыгнул с подножки и вернулся к своей машине. Опять милиция спешит показать Кремлю свою оперативность, это просто счастье, что он успел остановить этих дебилов! Только идиоты могли послать сюда тучу солдат с приказом арестовать сотню евреек. Можно представить, что бы здесь началось на радость этой банды западных журналистов!

Он сел в машину и приказал шоферу:

– Поехали.

– Куда? – спросил водитель.

– Вперед! В ОВИР. Куда же еще?

– Так ведь бабы же... – заколебался шофер, кивнув на толпу женщин, преграждавших им дорогу.

– Ничего, пропустят! Гуди!

Он оказался прав – видя, что по его приказу «черные вороны» дали задний ход, женщины расступились перед его «Волгой», и машина подвезла его прямо к подъезду ОВИРа. Здесь, перед закрытой дверью, торчали-дежурили два постовых милиционера. Барский, отвернувшись от камер западных журналистов, стремительно вышел из машины, в два шага миновал постовых и пешком взбежал на третий этаж.

– Может, я их приму? – вместо приветствия сказал Булычев вошедшему в кабинет Барскому. Булычев стоял у окна, у кисейной шторы, и сверху смотрел на толпу возбужденных отказниц.

– И что ты им скажешь? – возразил Барский, тоже подойдя к окну. – Они тут усядутся и устроят сидячую забастовку на пару недель. Ты их за волосы будешь отсюда вытаскивать?

– А если принять человек пять-шесть? А остальных обнадеежить?

– Ни за что! – решительно отрезал Барский. – Если им уступить, у тебя тут каждый день будет по тысяче человек! Со всей страны.

– Что же делать?

Барский, не ответив, смотрел через окно на толпу евреек. Большинство из них он никогда не встречал, но тем не менее почти всех знал по фотографиям в их личных делах. Как ни странно, но за семь лет существования его отдела, ему не удалось завербовать в стукачки ни одной еврейки. Мужчин – пожалуйста, этих «информаторов» у него только в Москве было больше дюжины. Но женщин... А вот и Инесса Бродник – маленькая, седая еврейка, несмотря на жару, в кирзовых ботинках и в сером стеганом ватнике с вызывающей шестиконечной желтой нашивкой на груди. Приготовилась, значит, к аресту и дает интервью какому-то западному телевизионщику, читает ему сегодняшнюю «Правду»:

– «Нет такого политического преступления за последние сотни лет, к которому сионисты не приложили бы руку. В годы войны они бок о бок работали с гестапо, с фашистской военной разведкой. Многие сионисты работали надзирателями в лагерях смерти...» Вы видите? И такая грязь каждый день во всех газетах!..

Барский поморщился – насчет работы евреев в гестапо «Правда», конечно, перебрала, но, поди узнай, откуда это идет – из сусловского Отдела пропаганды ЦК или из кабинетов Кулакова, Шауро, Долгих и других молодых кремлевских ястребов, не желающих отдавать КГБ вопросы формирования общественного мнения в стране. Барский перевел взгляд с Бродник на других женщин. Вот Зина Герцианова, жена знаменитого артиста-комика, чистокровная, между прочим, русачка и почти на тридцать лет моложе своего мужа, а тоже тут, в еврейской демонстрации! Вот Наталья Кац, трехмесячная дочка которой якобы умирает и нуждается в срочном лечении в США. А вот Рая Гольдина, трижды отказница и сволочь бесстыжая – прямо на улице кормит грудью ребенка.

– А ведь красивая, сука! – сказал вдруг Булычев, закрывая двойную форточку, чтобы заглушить шум толпы.

Барский посмотрел ему в глаза, и генерал смутился:

– Я не про ту, что с грудью. Я про жену Герцианова. Она же русская...

Однако по кобелиному блеску в глазах генерала Барский ясно видел, что именно о Гольдиной, еврейке, говорил Булычев. И это тоже покорило его – какого черта почти все русские мужики так легко заводятся на еврейских баб? Стоит ковырнуть подноготную русских номенклатурных работников, как окажется, что половина из них или женаты на еврейках, или имеют евреек-любовниц. Но Барский был выше этого. Как когда-то Ньютон гордился тем, что не тративал себя на секс и «не проронил на женщин ни капли семени», так Барский гордился тем, что его не волновали еврейские женщины.

– Я одного не понимаю, – сказал Булычев, стараясь увести Барского от подозрений в его мужском интересе к еврейкам. – наших русских Иванов. Ну, кажется, им уже каждый день в газетах намекают, что можно бить жидов, пора, ничего за это не будет. Ан нет! Ни одного погрома! Вот смотри. – И он показал в сторону Самотечной площади, где милиция полосатыми барьерами отсекала демонстранток от уличного перехода. – Мужики проходят, ну, покроют матом и – мимо! Даже эти строители, – он кивнул на какую-то стройку по соседству, через улицу. – Работу побросали, зыряты да плюют сверху, только и всего!

Честно говоря, этот парадокс уже озадачивал и руководство КГБ. Газетные статьи, книги и телепередачи о «происках сионизма» и «международном заговоре сионистствующих фашистов» подогрели, конечно, атмосферу в стране и вызвали мелкие, то тут, то там, разряды антисемитских зуботычин. Но мощной очищающей грозой народного гнева, которая еврейскими погромами разрядила бы накапливающееся в народе недовольство режимом, все не было...

Резкий телефонный звонок правительственной «вертушки» заставил Булычева поспешно взять трубку с белого аппарата, украшенного гербом СССР. Послушав, он протянул ее Барскому:

– Тебя. Шумилин.

– Борис Тихонович, – тут же сказал Барский в трубку, упреждая все, что мог обрушить на него первый замминистра внутренних дел по поводу бесцеремонной отмены Барским его приказа. – Арестовать больше сотни женщин на глазах западных журналистов было бы совершенно невыносимо! Ведь они именно этого и добивались! Чтобы завтра фотографии этого побоища были на первых страницах газет всего мира и все они стали еврейскими Жаннами д'Арк! Но за это в первую очередь сняли бы мою голову и вашу. Вы понимаете?

– Так что же делать? – спросил замминистра на том конце провода, сообразив, от какой беды спас его полковник Барский.

– Кажется, у меня есть идея, – произнес Барский, глядя через окно на зевак-строителей, по-прежнему сидевших на недостроенной крыше соседнего дома. – Нужно сотни три милиционеров переодеть в спецовки и каски строителей и привезти сюда. Чтобы они под видом возмущенных рабочих просто разогнали этих евреек. Так сказать, возмущенный народ решил сам навести порядок в своей стране. В конце концов, это разумно. Если КГБ и милиция бесильны...

– Понял! Я твой должник. Жди «рабочих»! – обрадовался Шумилин.

– Только предупредите их – никакого мордобоя! – поспешил заметить Барский. – Хотя, если они случайно раздавят пару кинокамер у западных журналистов, – это ничего...

– Гениально! – восхитился Булычев.

Барский удовлетворенно положил трубку. Иметь в должниках замминистра МВД СССР совсем неплохо. Но о чем же он думал до звонка Шумилина? Ах да! О погромах. Конечно, если судебный процесс над Рубинчиком провести открыто, в Верховном суде, с народным прокурором-обвинителем и с вереницей русских девушек, обесчещенных этим распутным монстром еврейской национальности, – это заденет каждого русского и украинца, у которого есть дочь или сестра. То есть рассчитанная в основном на эффект за пределами СССР, эта акция может и внутри страны сдетонировать похлеще знаменитой «крови христианских младенцев», из-за

которой начались еврейские погромы в начале века. Но не испугает ли это осторожных лис в Кремле?

– У тебя есть что выпить? – спросил он у Булычева.

– Обижает! – усмехнулся повеселевший Булычев, открыл сейф, достал бутылку «Наполеона» и нажал кнопку под крышкой своего письменного стола. – Валюша, – сказал он, когда двери возникла его секретарша – молодая и высокая, как волейболистка, в мини-юбке и с ярко-накрашенными губами, – организуй нам рюмки и... Ну, сама сообрази. Только по-быстрому!

Барский проводил взглядом эту Валюшу и посмотрел на большой кожаный диван в кабинете Булычева. Диван был явно нестандартной длины. Барский с усмешкой кивнул в его сторону:

– На заказ делал?

Но генерал предпочел сделать вид, что не понял намека.

– В каком смысле? – спросил он и снял трубку вновь зазвонившего «ВЧ». И вдруг встал: – Добрый день, Юрий Владимирович...

Барский напрягся – сам Андропов?!

– Да, здесь, передаю, – почтительно сказал в трубку Булычев и протянул ее Барскому.

– Какое ты принял решение? – спросил Андропов на том конце провода, не тратя и секунды на приветствие.

Барский доложил свою идею о «строителях». Разгон демонстрации будет выглядеть не очередной репрессией КГБ, а стихийной реакцией простых советских тружеников на бесчинства сионистов в центре Москвы.

– Что ж... Только не увлекайся, – заметил Андропов, – ситуация и так напряжена судом над Орловым. Нам сейчас ни к чему массовые эксцессы.

– Я знаю, Юрий Владимирович. Эта Бродник потому и обнаглела.

– С ней потом разберешься, – сказал Андропов, и Барский возликовал в душе: сам Андропов одобрил его действия! Но в таком случае...

– Еще минуту, Юрий Владимирович! – сказал он в трубку. – У меня есть одна разработка, которую я хотел бы вам показать...

Пауза, повисшая на том конце провода, означала одно из двух: либо Андропов, который терпеть не мог, когда сотрудники Комитета прорывались к нему через головы своих начальников, оценивает размеры наглости Барского, либо он просто листает свой настольный календарь. За все время службы в КГБ Барский лишь один раз *сам* напросился на прием к Андропову – в мае 1970 года, когда из груды рапортов провинциальных стукачей выудил коротенький рапорт о том, что какой-то Эдуард Кузнецов, только что вышедший из тюрьмы сионист, сколачивает группу для угона самолета на Запад. По тем временам угон самолета из цитадели коммунизма был полной новинкой, акцией неслыханной дерзости, и, конечно, любой другой оперативник КГБ арестовал бы Кузнецова и его банду немедленно, тепленьких, в их квартирах. Но в идее *еврейского* группового захвата самолета Барский мгновенно разглядел совсем другие перспективы для своей фирмы. И добился личного приема Андропова...

– Тебе позвонит мой помощник. Полчаса тебе хватит? – спросил вдруг в трубке голос Андропова.

– Вполне! Спасибо, Юрий Владимирович! – встрепенулся Барский.

Бесцеремонный отбой на том конце провода отнюдь не огорчил его, он знал, что шеф не любит терять время попусту. Улыбнувшись, он почти автоматически взял со стола Булычева пачку «Столичных» и закурил.

Тут открылась дверь и секретарша внесла поднос с двумя бутылками минеральной воды, двумя коньячными бокалами и тарелкой с бутербродами. Ставя поднос на стол, она присела и нагнулась так, что в вырезе блузки словно случайно открылись ее грудки без лифчика. Впрочем, она тут же выпрямилась и посмотрела на своего хозяина:

– Что-нибудь еще, Кирилл Федорович?

– Лифчик надень! – хмуро сказал ей Булычев.

– И, если можно, нарежьте нам лимон, – добавил Барский.

– Сейчас... – Она вызывающе глянула ему в глаза и, независимо покачивая высокими бедрами, вышла из кабинета.

– Учишь их тут, понимаешь... – проворчал Булычев, наливая коньяк в бокалы.

– Может, не тому учишь? – усмехнулся Барский, еще нянча в душе спокойно-дружеский тон Андропова и его фразу: «Полчаса тебе хватит?»

Шум на улице заставил его отвлечься и снова глянуть в окно. Там еще одна черная «Волга» миновала милицейское оцепление и двигалась к ОВИРу сквозь медленно расступающуюся толпу демонстранток.

– Кто это? – спросил Барский, но Булычев только пожал плечами. Однако через минуту Барский и сам узнал, кто это – из машины вышел и вальяжно, вразвалку прошел к подъезду Сергей Игунов, главный специалист ЦК КПСС по сионизму, доктор исторических наук, автор книг «Фашизм под голубой звездой», «Сионизм без грима», «Вторжение без оружия» и редактор еще десятка изданий того же направления.

– Убрать? – спросил Булычев у Барского, кивнув на коньяк.

– Почему? Он что, нерусский? – усмехнулся Барский, гадая, что заставило явиться сюда самого Игунова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.